СБОРНИКЪ
ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Томъ LXXXIX, № 6.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ПРИСУЖДЕНІЕ ПРЕМІЙ

ИМЕНИ

А. С. ПУШКИНА

1909 ГОДА.

Отчетъ и рецензіи I — VIII.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 12.
1911.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Сентябрь 1911 г.
Непремѣнный Секретарь, Академикъ *С. Ольденбургъ*.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

Отчетъ, читанный въ публичномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ 19-го октября 1909 года ординарнымъ академикомъ Н. А. Котляревскимъ . . . . . 1—18

ПРИЛОЖЕНІЯ.

I. **А. И. Купринъ**: «Разсказы». Т. I (изд. 3-е, 1907 г.), Т. II (изд. 1-е, 1906) и Т. III (изд. 2-е, 1907). Рецензія поч. акад. **К. К. Арсеньева** . . . . . 21— 9

II. **И. А. Бунинъ**: [Сочиненія]. Томъ *Третій*. Стихотворенія 1903—1906 гг. (С.-Петербургъ, 1906).—Томъ *Четвертый*. Стихотворенія 1907 г. Годива, поэма Теннисона. Изъ «Золотой легенды», Лонгфелло. Каинъ, Мистерія Байрона (С.-Петербургъ, 1908). Рецензія поч. академика **К. Р.** . . . . . 30—55

III. **В. Рудичъ**: «Новыя стихотворенія» (Спб. 1908). Рецензія поч. академика **К. Р.** . . . . . 55—65

IV. **Ю. И. Айхенвальдъ**: «Силуэты русскихъ писателей». Выпуски I и II (Москва, 1908). Рецензія академика **Н. П. Кондакова**. . 66—72

V. **Волковичъ**: а) «Вѣрь...» 8°. (Вырѣзка изъ «Русск. Вѣстника». Стран. 1—14).—б) «Но то былъ сонъ!..» I—VI. (Вырѣзка изъ фельетона въ газетѣ «Новое Время». Годъ и № опредѣлить не возможно). а) Деньги—свѣтъ! Разсказъ **А. Н. Волковичъ-Вель**. 8°. (Вырѣзка изъ Ежемѣсячн. литерат. и попул.-научн. приложеній къ «Нивѣ» за августъ 1905 г. Столбцы 513—564). б) «Изъ Бѣлостока въ Осовецъ и Щучинъ. (Изъ мимолетныхъ впечатлѣній» (2 статьи, вырѣзки изъ прилож. къ газетѣ «Слово» 14 и 18-го сентября 1905 г. № 255 и 259. Въ листъ). **Волковичъ-Вель**: а) Тайна. Повѣсть. 8°. (Вырѣзка изъ «Русск. Вѣстника» 1906 г. № VI. Стран. 363—413). — б) Бога ищутъ. (Изъ судебной хроники). Разсказъ 8°. (Вырѣзка изъ «Русск. Вѣстника» 1906 г. № V. Стран. 58—65). — в) Красная горка.

СТРАН.

(Фантазія). Въ листъ. Вырѣзка изъ журнала «Пробужденіе». ? г. № 17. Стр. 267—270). — Анчаръ. (Изъ переписки одного гимназиста). Сочиненіе **Волковичъ-Вель.** С.-Петербургъ. Изд. Книгопрод. Н. Г. Мартынова. 1906. 12⁰ (экз. съ рукописными добавленіями). Рецензія поч. академика *Д. Н. Овсянико-Куликовскаго*. . . . . 73—80

VI. **Г. Т. Полиловъ-Сѣверцевъ**: Наши дѣды-купцы. Бытовыя картины нач. XIX стол. Спб. (б. о. г.). Рецензія поч. акад. *А. Ѳ. Кони*. . . . . 81— 4

VII. **О. Н. Чюминой**: а) «Эринніи», античная трагедія (въ стихахъ) Леконта де-Лиля, б) драма: «Северо-Торелли» въ 5-ти дѣйствіяхъ (въ стихахъ) Франсуа Коппе (б. о. г.). (Универсальная Библіотека В. Антикъ и К⁰ №№ 40 и 42). — в) «Осенніе Вихри». (Спб. 1908). Рецензія проф. *Ѳ. Д. Батюшкова* . . . 84— 9

VIII. **В. Шуфъ**: «Въ край иной. . .». Сонеты. (Спб. 1906). Рецензія почетн. академика **К. Р.** . . . . . 89—125

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ПРИСУЖДЕНІЕ ПРЕМІЙ

имени А. С. Пушкина.

Отчетъ, читанный въ публичномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ 19-го октября 1909 года.

Въ настоящемъ году Разряду изящной словесности Императорской Академіи Наукъ предстояло высказаться о достоинствахъ весьма значительнаго числа литературныхъ произведеній какъ оригинальныхъ, такъ и переводныхъ, доставленныхъ авторами на XVIII-ое соисканіе премій имени А. С. Пушкина. Кромѣ того самимъ Разрядомъ изящной словесности на основаніи § 8 Правилъ о тѣхъ же преміяхъ было включено одно сочиненіе и пять сочиненій перенесено съ XVII-го конкурса въ число конкурсныхъ.

Въ числѣ пятидесяти семи сочиненій, принадлежащихъ перу тридцати шести авторовъ, встрѣтились двадцать сборниковъ стихотвореній, одинъ историческій романъ, три эпическихъ поэмы, двадцать повѣстей и разсказовъ, одинъ романъ, одна комедія въ стихахъ, одна трагедія, шесть переводныхъ трагедій и поэмъ и историко-литературныя монографіи.

Для разсмотрѣнія всѣхъ означенныхъ произведеній, согласно § 11 Правилъ о присужденіи премій имени А. С. Пушкина была образована Комиссія, въ составъ которой вошли ординарные академики: А. А. Шахматовъ, Ф. Ѳ. Фортунатовъ,

В. И. Ламанскій, Н. П. Кондаковъ, А. И. Соболевскій и В. М. Истринъ; почетные академики: К. Р., К. К. Арсеньевъ, А. Ѳ. Кони, Н. А. Котляревскій и Д. Н. Овсянико-Куликовскій и приглашенные, въ качествѣ членовъ Комиссіи, рецензенты проф. Ѳ. Д. Батюшковъ и Н. К. Кульманъ.

Поступившія на настоящій Пушкинскій конкурсъ сочиненія были въ свое время разсмотрѣны членами Отдѣленія русскаго языка и словесности, гг. почетными академиками Разряда изящной словесности и упомянутыми посторонними учеными: проф. Ѳ. Д. Батюшковымъ и Н. К. Кульманомъ.

Изъ всего числа пятидесяти семи сочиненій, поступившихъ на конкурсъ, могли быть приняты только сорокъ семь.

Подверглись исключенію: 1) шесть литературныхъ трудовъ, неудовлетворявшихъ § 10-му Правилъ о преміяхъ имени А. С. Пушкина, какъ доставленныя по истеченіи трехъ и болѣе лѣтъ послѣ выхода въ свѣтъ, и 2) два труда не удовлетворявшихъ § 9-му Правилъ, такъ какъ были представлены въ рукописномъ видѣ. Кромѣ того два сочиненія были перенесены на преміи имени М. Н. Ахматова и гр. Д. А. Толстого.

Изъ оставшихся сорока семи сочиненій Комиссіею были отвергнуты двадцать шесть, относительно которыхъ разсматривавшіе ихъ гг. рецензенты дали отрицательные отзывы.

Такимъ образомъ одобреніе Комиссіи, постановляющей рѣшеніе о присужденіи Пушкинскихъ премій, въ текущемъ году, получили всего 21 сочиненіе, принадлежащія перу восьми авторовъ.

Приводимъ въ послѣдовательномъ порядкѣ краткія извлеченія изъ отзывовъ гг. рецензентовъ объ этихъ премированныхъ сочиненіяхъ.

I.

Купринъ, А. И.: *Разсказы, Т. I (изд. 3-е, 1907), т. II, (изд. 1-е, 1906) и т. III (изд. 2-е, 1907).*

А. И. Купринъ — безспорно одинъ изъ самыхъ выдающихся нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Свободный — по крайней мѣрѣ въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя въ настоящее время подлежатъ разбору, — отъ крайностей, въ которыя впадаютъ многіе изъ его сверстниковъ, онъ остается вѣренъ лучшимъ традиціямъ нашей литературы. Не переступая за грань здороваго реализма, хотя и не останавливаясь передъ самыми темными сторонами дѣйствительности, онъ бережетъ, согласно завѣтамъ Тургенева, русскій языкъ и пишетъ съ изящной простотою, исключающею дѣланность содержанія и вымученность, манерность формы. Онъ беретъ свои сюжеты изъ самыхъ различныхъ сферъ, составлявшихъ, очевидно, предметъ его непосредственнаго пристальнаго наблюденія. Всего чаще онъ касается военнаго быта, какъ офицерскаго, такъ и солдатскаго. Л. Н. Толстой создалъ въ свое время рядъ военныхъ картинъ, поразительныхъ по вѣрности замысла и художественности исполненія; но онѣ изображаютъ, большею частью, тѣ моменты, когда войско стоитъ лицомъ къ лицу съ непріятелемъ и живетъ приподнятою усиленною жизнью. Такихъ-же моментовъ касается и Гаршинъ въ своихъ прекрасныхъ военныхъ разсказахъ. Купринъ беретъ армейскій бытъ въ мирное время, когда ничто не скрашиваетъ его томительнаго однообразія.

Изъ числа произведеній А. И. Куприна, подлежащихъ въ настоящее время суду Академіи, къ типу романа, по объему и по замыслу приближаются два: «Молохъ» и «Поединокъ». Въ первомъ много талантливыхъ страницъ, но цѣлому не достаетъ законченности и единства. Интересъ, сосредоточивающійся сначала на жизни завода, переходитъ потомъ на любовную авантюру

заѣзжаго дѣльца и на связанные съ нею разсчеты и интриги. Параллельно съ этимъ блѣднѣетъ и стушевывается герой разсказа, инженеръ Бобровъ. Можно было думать, что центральнымъ узломъ дѣйствія будетъ отношеніе Боброва къ заводской работѣ, къ тяжелымъ проблемамъ заводскаго быта—а на самомъ дѣлѣ все сводится къ его разочарованію въ любимой дѣвушкѣ. Какъ ни эффектно разработанъ этотъ мотивъ, онъ не заставляетъ забыть о проклятіяхъ, которыя Бобровъ посылалъ промышленному Молоху, и о тѣхъ немногихъ сценахъ, гдѣ передъ нами мелькали жертвы Молоха—рабочія массы. Самое заглавіе разсказа остается не вполнѣ оправданнымъ; авторъ, по видимому, измѣнилъ своему первоначальному замыслу.

Отъ недостатковъ «Молоха» свободенъ «Поединокъ». Судьба подпоручика Ромашева неразрывно связана съ жизнью полка, въ которомъ онъ служитъ; на фонѣ военнаго быта отчетливо вырисовывается личная трагедія молодого офицера. У Боброва и Ромашева есть кое-что общее, но это не мѣшаетъ каждому изъ нихъ представлять собою совершенно опредѣленную индивидуальность. У обоихъ есть отдаленное сходство съ «лишними людьми», съигравшими столь важную роль въ исторіи нашей литературы; но это еще не значитъ, что мы видимъ здѣсь только новыя варіаціи на старую тему. Ромашевъ и Бобровъ могутъ считаться лишними только съ точки зрѣнія той среды, въ которую ихъ поставилъ случай. Въ Бобровѣ есть задатки реформатора; при другихъ условіяхъ, не смотря на всю свою нервность, онъ могъ бы перейти отъ слова къ дѣлу. Ромашевъ полонъ стремленій къ высокому и свѣтлому, но онъ не знаетъ, какъ осуществить ихъ, куда приложить свои силы. Его постоянно работающее воображеніе сосредоточивается на немъ самомъ, рисуя картины, чѣмъ онъ могъ бы быть, что могли бы увидѣть въ немъ другіе; и стоило бы только измѣниться обстановкѣ — и это воображеніе сослужило бы ему большую службу, памѣчая и освѣщая путь къ лучшему будущему. Удачно обрисована авторомъ и Шурочка, нѣжная и вмѣстѣ съ тѣмъ до жестокости честолюбивая, полусо-

знательно толкающая Ромашева на вѣрную смерть. Тонко и сдержанно написана послѣдняя сцена ея съ Ромашевымъ, послѣ которой особенно сильное впечатлѣніе производитъ сухой, оффиціальный рапортъ о поединкѣ. Изъ числа другихъ дѣйствующихъ лицъ особенно удался автору Назанскій. Быть можетъ, его устами говоритъ иногда самъ *А. И. Купринъ*, но это не уменьшаетъ жизненности и художественной правды его рѣчей, органически сливающихся съ ходомъ разсказа.

Талантъ А. И. Куприна нуждается не въ поощреніи, а въ признаніи. Разсказы, представленные имъ на судъ Академіи, даютъ ему несомнѣнное право *на полную Пушкинскую премію.*—

Разборъ сочиненій А. И. Куприна былъ написанъ Почетнымъ академикомъ К. К. Арсеньевымъ.

II.

Иванъ Бунинъ, *Стихотворенія 1903—1906 г.* Томъ третій. *С.-Петербургъ, 1906 г.* — Томъ четвертый: *Стихотворенія 1907 г. Годива, поэма Теннисона. Изъ „Золотой легенды“, Лонгфелло. — Каинъ, мистерія Байрона. 1908 г.*

Произведенія *И. А. Бунина* были разсмотрѣны по просьбѣ Разряда изящной словесности Почетнымъ академикомъ *К. Р.*

Г. Бунинъ хорошо владѣетъ стихомъ, который у него безукоризненъ съ внѣшней стороны. Въ этомъ отношеніи мы имѣемъ дѣло не съ начинающимъ писателемъ, а со стихотворцемъ, побѣдившимъ черный трудъ изложенія поэтической мысли столь же поэтическою рѣчью. Уже во 2-мъ томѣ сочиненій г. Бунина встрѣчается не мало стихотвореній своеобразныхъ, образныхъ, полныхъ точнаго и картиннаго описанія, удачныхъ оборотовъ и сравненій. Онъ умѣетъ придать обыкновенному предмету поэтическую прелесть. Въ двухъ послѣднихъ томахъ сочиненій

И. Бунина больше недостатковъ, чѣмъ въ первыхъ, но все-таки есть много стихотвореній, дѣлающихъ честь автору.

Вѣрный глазъ и наблюдательность автора проявляются въ точности его описаній, и поэтъ уподобляется живописцу и описываетъ онъ не словами, а красками. Иногда какой-нибудь мелочью вѣрно подмѣченной, незначительной подробностью авторъ умѣетъ придать много жизненности своимъ стихамъ.

Автору можно поставить въ укоръ иногда неясное, туманное изложеніе мысли. Есть у него стихотворенія, надъ которыми ломаешь голову, какъ надъ ребусомъ: прочтешь, перечтешь, силишься угадать смыслъ — и такъ и остаешься въ недоумѣніи.

Если не рѣдки у г. Бунина непонятныя пьесы, то еще чаще встрѣчаемъ у него слова и имена, которыя слѣдовало-бы разъяснить читателю. Къ стихамъ г. Бунина нужно отнестись очень строго, потому что они плоды истинно поэтическаго творчества.

Переводъ поэмы Теннисона „*Годива*“ исполненъ г. Буниным прекрасно и не заслуживаетъ ни малѣйшаго упрека. Стихи подлинника переданы весьма точно; 75 англійскимъ стихамъ соотвѣтствуютъ 89 русскихъ.

Съ такою же похвалою должно отозваться и о переводѣ перваго отрывка изъ „*Золотой Легенды*“ Лонгфелло. Жаль только, что переводчику не удалось соблюсти риѳмъ въ заключительныхъ стихахъ пятистишій.

Что же касается второго отрывка, то онъ переведенъ бѣлыми стихами, тогда какъ въ подлинникѣ чередуются постоянныя риѳмы. Это бы еще не бѣда; много хуже, что переводчикъ допускаетъ пропуски и даже искаженія.

Болѣе половины четвертаго тома г. Бунина занимаетъ переводъ Байроновой мистеріи „*Каинъ*“.

Надо отдать справедливость переводчику, его трудъ читается легко, почти нигдѣ не замѣтно, что передача англійскихъ стиховъ должна была ему стоить большого упорнаго труда; слогъ простъ, ясенъ, гладокъ, даже звученъ.

По прочтеніи „*Каина*“ въ переводѣ г. Бунина, хочется поздравить его съ прекрасно исполненной работой, которая, передавая по-русски чудесное произведеніе безсмертнаго англійскаго поэта, представляетъ собою цѣнный вкладъ, обогащающій нашу переводную литературу. Но къ сожалѣнію, это отрадное впечатлѣніе значительно ослабѣваетъ при внимательномъ сличеніи перевода съ подлинникомъ. Въ самомъ текстѣ мистеріи есть пропуски безъ всякихъ оговорокъ переводчика. Такихъ пропусковъ во всей мистеріи 25: гдѣ пропущенъ одинъ стихъ, гдѣ два, три, четыре, а гдѣ восемь и даже тринадцать. Можно удивиться этимъ пропускамъ, такъ какъ г. Бунинъ переводчикъ весьма искусный и есть мѣста въ его переводахъ, переданныя съ самой тщательной близостью къ подлиннику и нисколько не въ ущербъ красотѣ и правильности русской рѣчи.

III.

Рудичъ, Вѣра; *1) „Стихотворенія“ (С.-Петербургъ, 1902 г.), 2) „Новыя Стихотворенія“ (Спб. 1908 г.).*

Разсмотрѣніе и оцѣнка сборника «Новыхъ Стихотвореній» г-жи *В. Рудичъ* исполнены Почетнымъ академикомъ *К. Р.*

Вѣра Рудичъ издала до сихъ поръ: Стихотворенія, С.-Петербургъ, 1902 г. и Новыя стихотворенія, С.-Петербургъ, 1908 г.; но эти двѣ книжки по богатству и глубинѣ содержанія и по безукоризненности и изяществу внѣшности стоятъ многихъ томовъ. Языкъ В. Рудичъ простъ, ясенъ, выразителенъ и всегда поэтиченъ. Одной изъ главныхъ ея особенностей и достоинствъ надо признать своеобразность, самобытность. Въ «Новыхъ стихотвореніяхъ» нѣтъ ни одной слабой пьесы, не заслуживающей названія поэтическаго произведенія.

Поразительна отзывчивость нашего мало извѣстнаго автора.

Какіе только предметы, явленія, случаи и чувства не вызываютъ его на созданіе часто неожиданнаго и всегда поэтичнаго художественнаго образа! Вещи, повидимому, безусловно чуждыя поэзіи наталкиваютъ Вѣру Рудичъ на превосходныя мысли.

Настоящій поэтъ не можетъ не любить, не чувствовать природы. Она постоянно отражается въ стихахъ г-жи Рудичъ, которая не довольствуется только картиной, но вѣрно и тонко подмѣтивъ то или другое явленіе внѣшняго міра и рисуя его изящными стихами, почти всегда выведетъ какое-либо нежданное заключеніе или найдетъ удачное сравненіе.

Необыкновенная въ наши дни скромность, полное смиреніе и совершенное отсутствіе горделивыхъ вожделѣній сильно подкупаютъ въ пользу нашего автора.

Г-жа Рудичъ полна сочувствія къ трудящимся, ей близки людскія горести, она принимаетъ къ сердцу скорби слабыхъ, униженныхъ, обездоленныхъ, сострадаетъ грѣшникамъ и умѣетъ по завѣту Пушкина «милость къ падшимъ призывать».

Одно изъ послѣднихъ стихотвореній милой книжки Вѣры Рудичъ посвящено грозѣ; гудятъ вершины деревьевъ, громъ грохочетъ:

Лѣсныя птицы больше пѣть не смѣютъ:
Не время пѣть среди нависшей мглы.
Онѣ молчатъ. А какъ свободно рѣютъ
Навстрѣчу бурѣ чайки и орлы!
Для мощныхъ крыльевъ міръ земной имъ тѣсенъ.
Но свой удѣлъ и малымъ соловьямъ:
Гроза пройдетъ, и надо будетъ пѣсенъ
Помолодѣвшимъ рощамъ и лѣсамъ.

И хочется причислить г-жу Рудичъ къ тѣмъ «малымъ соловьямъ», которыхъ истинно хорошихъ пѣсенъ намъ такъ надо!

IV.

Айхенвальдъ, Ю. И. *„Силуэты русскихъ писателей". Выпуски I и II (Москва, 1908).*

Разсмотрѣніе труда г. *Айхенвальда* было исполнено Ординарнымъ академикомъ Н. П. Кондаковымъ.

Эстетическая критика главнѣйшихъ представителей русской литературы, появлявшаяся въ послѣдніе годы въ журналахъ: «Научное Слово» и «Русская Мысль» въ очеркахъ г. Ю. Айхенвальда обратила на себя вниманіе многими блестящими сторонами. Это были очерки живые, увлекательные въ чтеніи, несомнѣнно искренніе и принадлежавшіе перу писателя образованнаго и утонченнаго цѣнителя литературы. Послѣ прочтенія иныхъ, наиболѣе удачныхъ очерковъ въ журналѣ, было естественно желать появленія ихъ въ одной книжкѣ. Авторъ поспѣшилъ пойдти на встрѣчу этому желанію и даже болѣе того, нѣкоторые очерки онъ пересмотрѣлъ, другіе дополнилъ, а нѣкоторые настолько переработалъ, какъ, напримѣръ, главу о Пушкинѣ, что она составила особую книгу. И вотъ, въ результатѣ, получился сборникъ статей и большихъ эстетическихъ трактатовъ, къ которому прежде всего совершенно не идетъ заглавіе «силуэтовъ». Въ своихъ очеркахъ авторъ даетъ больше, чѣмъ обѣщаетъ это заглавіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ явно нарушаетъ свою задачу. Это нарушеніе ощущается читателемъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ вдумчивѣй становится критикъ и чѣмъ пространнѣй и доказательнѣе строитъ онъ свои характеристики. И часто бываетъ, что читатель не ощущаетъ особенной благодарности автору за его усилія быть убѣдительнѣе.

Въ настоящемъ своемъ видѣ очерки представляютъ уже утомительное, по своему однообразію,—не смотря на пестроту безконечныхъ повтореній — и по банальности излюбленныхъ пріемовъ чтеніе. Здѣсь было бы не мѣсто входить въ разсужденіе о томъ,

въ чемъ нуждается эстетическая критика русской литературы въ настоящее время, но не лишнимъ по поводу настоящаго сочиненія было бы напомнить, что для новой русской литературы настало уже время исторической критики и что въ настоящее время болѣе чѣмъ странно ограничиваться, напримѣръ, исключительно эстетическою критикою при оцѣнкѣ Грибоѣдова, Крылова, Батюшкова и др.

Во всѣхъ очеркахъ г. Айхенвальда мы находимъ много интереснаго, много новаго, высказаннаго по поводу разныхъ писателей, но рядомъ въ то же время находимъ и повтореніе въ пространной формѣ давно избитыхъ эстетическихъ оцѣнокъ, только данное въ новой формѣ въ современномъ переложеніи. Въ особенности въ словахъ автора о писателяхъ Пушкинскаго періода рѣзко ощущается недостатокъ исторической критики. Всѣмъ очевидно, что нельзя обойтись безъ историческаго разбора, говоря о комедіи Грибоѣдова, разбирая Чацкаго только съ психологической точки зрѣнія и оцѣнивая житейскую мудрость басенъ Крылова съ точки зрѣнія идеальныхъ запросовъ современности. Почти то же должно сказать съ исторической точки зрѣнія о характеристикахъ: Батюшкова, Рылѣева, Баратынскаго, Аксакова, Кольцова. Съ другой стороны авторъ «Силуэтовъ», не стѣсняясь, наполняетъ свои разборы всею шумихою современныхъ фразъ при всякомъ удобномъ поводѣ: «глухая тревога народной жизни», «молчаніе — символъ русской дѣйствительности», «колебаніе патріархальныхъ устоевъ», «ферментъ благодатныхъ волненій», «дымное отечество» и т. д.

Удачнѣе разборъ писателей Гоголевскаго и особенно новѣйшаго періода, хотя не безъ крупныхъ недостатковъ, происходящихъ отъ той же привычки обобщать литературное явленіе при первой представившейся возможности.

Бо́льшею тонкостью отличается критическая характеристика Тургенева, но она ошибочна въ выводахъ: современная «старомодность» этого писателя, утрата имъ прежняго «благоуханія», его «уходъ въ прошлое» — могутъ считаться также же явле-

ніемъ преходящимъ, какъ и прежнее увлеченіе имъ, заставлявшее большую публику забывать или мало цѣнить Льва Толстаго.

Послѣ всѣхъ заявленныхъ критикомъ высокихъ эстетическихъ требованій тѣмъ болѣе странно въ характеристикѣ Чехова встрѣтить повтореніе публицистическаго шума, поднятаго русскими газетами и журналами по случаю смерти этого писателя. Здѣсь крайне не натуральное натужное краснорѣчіе критика вращается среди разнообразныхъ соціалистическихъ формулъ, которыми уснастили уже русскіе публицисты художественное творчество покойнаго писателя. Нельзя не сказать объ этомъ, такъ какъ настоящій случай наиболѣе ярко рисуетъ всю фальшь нашей публицистической критики; человѣкъ и писатель наиболѣе жизнерадостный въ нашей новѣйшей литературѣ, наименѣе склонный къ пессимизму, не смотря на болѣзнь никогда не поддававшійся меланхоліи, хотя сочетавшій въ своемъ талантѣ и печаль и юморъ, принесшій въ литературу съ собою нѣчто совершенно новое, — оказался совершенно фальшивой фигурой публицистическаго нытика, который, однако же, продолжаетъ художественно радовать всѣхъ читателей.

V.

Волковичь-Вель, А. Н.: *а) „Вѣрь“, б) „Но то былъ сонъ“, в) „Деньги-свѣтъ“, г) „Изъ Бѣлостока въ Осовецъ и Щучинъ“, д) „Тайна“, е) „Бога ищутъ“, ж) „Красная горка“, з) „Анчаръ“ (1905—6 гг.).*

Произведенія г-жи *Волковичь-Вель* были взяты на разсмотрѣніе Почетнымъ академикомъ Д. Н. Овсянико-Куликовскимъ.

Разсказы и очерки г-жи *Волковичь-Вель*, говоритъ рецензентъ, производятъ весьма выгодное впечатлѣніе вдумчивостью,

серьезностью замысла, простотою изложенія, отсутствіемъ манерности и вычурности. Авторъ — художникъ-моралистъ, отчасти даже и публицистъ. Его художническое вниманіе направлено на темныя стороны души человѣческой, на отрицательныя явленія жизни. Но онъ не ограничивается изображеніемъ ихъ,— онъ старается найти точку опоры для борьбы съ ними и находитъ ее—въ нравственномъ чувствѣ, въ голосѣ совѣсти, которая рано или поздно заговоритъ. На этотъ-то пунктъ по преимуществу и направлены наблюденія и размышленія автора. Его глубоко интересуетъ психологія таинственнаго явленія, называемаго *совѣстью*. Онъ изучаетъ и цѣнитъ не только правильную, нормальную дѣятельность совѣсти, но и неправильную, импульсивную, не разумную ея дѣятельность, обусловленную темнотою, нравственнымъ недоразвитіемъ человѣка, дѣйствіемъ страстей или аффектовъ.

Общее заключеніе о талантѣ г-жи Волковичь-Вель можетъ быть сведено къ слѣдующему: у нея есть несомнѣнно художественная одаренность, но болѣе яркому обнаруженію этой одаренности мѣшаетъ соблазнъ болѣе легкаго, беллетристическаго, чисто-литературнаго рѣшенія моральныхъ задачъ.

VI.

Полиловъ-Сѣверцевъ, Г. Т. — *„Наши дѣды-купцы. Бытовыя картины начала XIX столѣтія“.*

Оцѣнку книги г. *Полилова-Сѣверцева* исполнилъ Почетный академикъ А. Ѳ. Кони.

Настоящая книга заслуживаетъ вниманія какъ по содержанію, такъ и по обработкѣ заключающагося въ ней матеріала. Это кусокъ бытовой исторіи нашего торговаго сословія въ Петербургѣ и Рыбинскѣ, выхваченный прямо изъ жизни, богатый

фактическими данными и яркими красками и облеченный въ свободную и легкую литературную форму. Семейная хроника, этнографическія свѣдѣнія, статистическіе выводы, народныя повѣрья, пословицы и примѣты, историческія событія и оригинальныя стороны общественной и частной жизни перваго тридцатилѣтія XIX вѣка въ столицѣ Россіи искусно и правдиво переплетены между собою авторомъ и рельефно, въ цѣльныхъ образахъ и картинахъ, выступаютъ передъ читателемъ. Описывая старые годы въ формѣ бытовыхъ очерковъ и разсказовъ, авторъ умѣлъ избѣжать двухъ крайностей, которыя встрѣчаются обыкновенно въ произведеніяхъ этого рода: описываемые имъ люди не только носятъ платье и живутъ въ обстановкѣ старыхъ годовъ, но мыслятъ и отзываются на окружающее именно какъ люди старыхъ годовъ, а не какъ наши переряженные современники; — съ другой стороны въ нихъ не подчеркиваются усиленно и тенденціозно ихъ духовная и умственная отсталость отъ послѣдняго слова современности, и въ уста имъ не вкладывается поддѣльная и неестественная рѣчь, заимствованныя изъ старыхъ романовъ или оффиціальныхъ актовъ.

Вся книга, за исключеніемъ двухъ-трехъ маленькихъ погрѣшностей, написана прекраснымъ русскимъ языкомъ, чуждымъ модныхъ кривляній и бездарной изобрѣтательности. Она проникнута благороднымъ настроеніемъ и тихой грустью предъ хорошими сторонами прошлаго безъ слѣпого поклоненія ему даже въ его недостаткахъ — и производитъ впечатлѣніе серьезнаго и выполненнаго съ любовью труда.

VII.

Чюмина, О. Н. *Переводы въ стихахъ: 1) „Эриніи“, античная трагедія (въ стихахъ) Леконта де-Лиля, 2) „Северо Торелли“, драма въ 5-ти дѣйствіяхъ (въ стихахъ) Франсуа Коппе, и — „Осенніе вихри“, стихи.*

Разсмотрѣніе произведеній г-жи *Чюминой* исполнено по просьбѣ Разряда проф. Ѳ. Д. Батюшковымъ.

Г-жа Чюмина въ настоящее время является у насъ одной изъ лучшихъ переводчицъ въ стихахъ произведеній иностранныхъ писателей. Качества ея переводовъ были неоднократно оцѣнены Академіей Наукъ, такъ что врядъ ли представляется надобность, подвергать ихъ подробному анализу. Владѣя изящнымъ стихомъ и правильной конструкціей фразы, съ большой легкостью подбирая риѳмы и сообщая стиху звучность и плавность музыкальной рѣчи, г-жа Чюмина въ большинствѣ случаевъ довольно близко придерживается и текста оригинала, передавая въ общемъ вполнѣ правильно его смыслъ, но неоднократно отступая отъ текстуальной передачи, вѣроятно въ силу невозможности сохранить ее въ стихотворныхъ переводахъ. Больше отступленій замѣтно въ переводѣ Леконта де-Лиля, точнѣе передача произведенія Франсуа Коппе. Это стоитъ въ связи съ различіемъ поэтической техники того и другого автора, при чемъ необыкновенно сжатый и красочный стиль Леконта де-Лиля почти не поддается дословной передачѣ, при необходимости сообразоваться также съ условіями русскаго стихосложенія. Въ виду этого, въ общемъ, переводъ получается лишь приблизительный: смыслъ вѣрно переданъ, но оттѣнками стиля пришлось пожертвовать. Отступленія, правда, незначительны. Кое-гдѣ пропущены фразы, эпитеты выпущены или замѣнены другими и сглажены блестки индивидуальнаго стиля французскаго поэта.

Переводъ драмы Франсуа Коппе «Северо Торелли» почти не вызываетъ никакихъ замѣчаній. Русскій текстъ передаетъ почти слово за словомъ французскій оригиналъ, словно самъ собою укладываясь въ стихотворную форму.

Оригинальныя стихотворенія г-жи Чюминой, изъ которыхъ представленъ на премію лишь небольшой сборникъ подъ заглавіемъ — «Осенніе вихри», не обладаютъ выдающимися достоинствами. Они, правда, почти всѣ изящны, проникнуты либо красивой грустью, либо бодрой вѣрой въ лучшее будущее, вполнѣ удовлетворительны въ смыслѣ стихотворной техники, даютъ рядъ умѣло составленныхъ описаній природы, но, по сущности, все это давно извѣстно, и много разъ описано.

Въ своей лирикѣ г-жа Чюмина не выдѣляется яркой художественной индивидуальностью. Авторъ не имѣетъ повода проявлять въ ней и то, присущее ей, остроуміе и оригинальную неожиданность въ оборотахъ и риомахъ, которыя она выказываетъ въ своихъ стихотвореніяхъ на злобы дня.

VIII.

Шуфъ, В.: *„Въ край иной...“. Сонеты. (1906).*

Оцѣнка сонетовъ г. Шуфа исполнена г. Почетнымъ академикомъ *К. Р.*

Въ краткомъ обращеніи къ читателю г. Шуфъ, предупреждаетъ, что отъ невѣрія и агностицизма, полнаго сомнѣній, отъ разбитыхъ святынь прошлаго длинный путь ведетъ къ вѣрѣ, «въ край иной». Онъ признается, что «искалъ своей святыни среди мраморныхъ обломковъ Эллады, въ пустыняхъ Африки, на берегахъ Нила, на ближнемъ и дальнемъ востокѣ». Свои мысли и

впечатлѣнія онъ передалъ въ циклѣ сонетовъ. «Между ними есть связь, но читатель, не желающій странствовать со мною», заключаетъ авторъ, «можетъ просмотрѣть каждое стихотвореніе отдѣльно, хотя бы для одного развлеченія, если ничего иного онъ не требуетъ отъ книги и отъ поэзіи».

Если есть связь между сонетами г-на Шуфа, то чисто внѣшняя, обусловленная лишь тѣмъ, что они вызваны путевыми впечатлѣніями и передаютъ мысли и образы, навѣянные плаваніемъ по Черному и Средиземному морямъ въ Египетъ, пребываніемъ въ дѣйствующей арміи во время русско-японской войны, картинами родины, путешествіями за западную нашу границу, странствованіемъ на Кавказѣ и въ Крыму и паломничествомъ въ Палестину. Внутренней же связи въ этихъ сонетахъ не замѣтно, если не принять во вниманіе, что безвѣріе тщетно побуждаетъ автора искать божества и въ буддизмѣ, и въ законѣ Моисея, и въ Алькоранѣ, и въ греческихъ миѳахъ, а истинная вѣра просыпается у поэта въ Святой Землѣ.

Надо отдать справедливость автору — его Муза отнюдь не страдаетъ односторонностью; если весь сборникъ отличается разнообразіемъ содержанія сонетовъ, то эта разносторонность особенно замѣтна въ отдѣлѣ «На родинѣ». Тутъ встрѣчаются и впечатлѣнія навѣянныя городами, напр. Варшавой (CXXI Польша) и Одессой (CXX) и нѣмцы-колонисты (CXIX Клейнлибенталь), и свѣтлая лѣтняя ночь въ Финляндіи (CXXIV Ночь на Саймѣ), и степной просторъ (CXXV Донскія станицы), и берега Наровы (CXVIII Башня Германа), и обращенія къ художникамъ (CXV Студія, CXVI Художнику), и крысы подгрызающія жилище автора (CII), и любовь (CI Воспоминанье, CXI Вечеръ), и блестящее изображеніе Высочайшаго смотра войскамъ въ Петербургѣ (XCVI Цезарь), и наконецъ отголоски самой послѣдней современности — «освободительнаго движенія» (LXXXIX Революція, XC Казнь, XCIV Власть), погромовъ помѣщичьихъ усадебъ (XCI Пугачевъ), фабричныхъ забастовокъ (XCII На фабрикѣ) и даже гибели священника Гапона (XCIII Измѣнникъ).

Отдѣлъ «Война» особенно близокъ сердцу автора. Въ немъ затронуты наиболѣе завѣтныя мысли и чувства, и нельзя не привѣтствовать автора за прекрасные стихи, въ которыхъ онъ воспѣлъ скорбную годину, пережитую всѣми нами съ острою, жгучею болью въ душѣ, съ трепетными надеждами на побѣду, съ горькимъ разочарованіемъ пораженій, со слезами о павшихъ и тоскою за покинутыхъ ими.

Надо поставить въ заслугу поэту, что изображая «ужасы войны», описывая раны, кровь и смерть, онъ не переступаетъ грани художественности, не превращаетъ поэзіи въ анатомическій театръ, а между тѣмъ нашъ поэтъ не отступаетъ отъ правды, которая становится тѣмъ правдивѣе, тѣмъ ближе къ жизни, чѣмъ лучше умѣетъ поэтъ во время умолчать объ иныхъ подробностяхъ. Художественное, поэтическое чутье подсказало г. Шуфу истинную мѣру.

Если на поэтической нивѣ г. Шуфа встрѣчаются плевелы, то въ послѣдней его книгѣ ихъ несомнѣнно меньше, а все еще попадающіеся являютъ недостатки далеко не столь крупные, какъ въ первыхъ произведеніяхъ. Спѣлая пшеница заставляетъ забыть о плевелахъ. И у кого изъ писателей не найти тѣневыхъ сторонъ. Въ наше же время, когда истинная поэзія большая рѣдкость, нельзя не радоваться появленію хорошихъ стихотвореній, а такими слѣдуетъ назвать по крайней мѣрѣ 50 сонетовъ книги «Въ край иной...».

Комиссія по присужденію премій имени А. С. Пушкина, ознакомившись съ поступившими отъ гг. рецензентовъ рецензіями на всѣ тѣ сочиненія, которыя допущены къ настоящему Пушкинскому конкурсу, присудила закрытой баллотировкой *двѣ половинныя преміи* по пятисотъ рублей каждая: 1) А. И. Куприну за три тома его Сочиненій и 2) И. А. Бунину за томы III-й и IV-й его «Стихотвореній», а также за переводы произведеній: «Годива» и «Каинъ». Третьимъ сочиненіемъ, заслужи-

вающимъ награжденія половинною преміею, признаны «Новыя стихотворенія» (Спб. 1908 г.) Вѣры Рудичъ, но въ виду отсутствія у Комиссіи права выдать больше двухъ премій (§ 4 Правилъ), Комиссія присудила г-жѣ Рудичъ *первый почетный отзывъ* имени А. С. Пушкина.

Сочиненія: Ю. И. Айхенвальда, г-жи В. Волковичъ-Вель, Г. Т. Полилова-Сѣверцева, О. Н. Чюминой и А. В. Шуфа удостоены Комиссіею *почетныхъ* Пушкинскихъ *отзывовъ*.

Отдѣленіе русскаго языка и словесности, желая выразить свою признательность гг. рецензентамъ за написанные ими по особому его порученію критическіе разборы допущенныхъ къ XVIII-му соисканію премій имени А. С. Пушкина сочиненій, постановило выдать установленныя Пушкинскія золотыя медали гг. почетнымъ академикамъ: К. К. Арсеньеву, А. Ѳ. Кони, Д. Н. Овсянико-Куликовскому и проф. Ѳ. Д. Батюшкову.

РЕЦЕНЗІИ

I—VIII.

I.

А. И. Купринъ: *Разсказы, Т. I (изд. 3-е, 1907), т. II (изд. 1-е, 1906) и т. III (изд. 2-е, 1907).*

А. И. Купринъ — безспорно одинъ изъ самыхъ выдающихся нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Свободный—по крайней мѣрѣ въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя въ настоящее время подлежатъ разбору, — отъ крайностей, въ которыя впадаютъ многіе изъ его сверстниковъ, онъ остается вѣренъ лучшимъ традиціямъ нашей литературы. Не переступая за грань здороваго реализма, хотя и не останавливаясь передъ самыми темными сторонами дѣйствительности, онъ бережетъ, согласно завѣтамъ Тургенева, русскій языкъ и пишетъ съ изящной простотою, исключающею дѣланность содержанія и вымученность, манерность формы. Онъ беретъ свои сюжеты изъ самыхъ различныхъ сферъ, составлявшихъ, очевидно, предметъ его непосредственнаго, пристальнаго наблюденія. Всего чаще онъ касается военнаго быта, какъ офицерскаго, такъ и солдатскаго. Л. Н. Толстой создалъ въ свое время рядъ военныхъ картинъ, поразительныхъ по вѣрности замысла и художественности исполненія; но онѣ изображаютъ, большею частью, тѣ моменты, когда войско стоитъ лицомъ къ лицу съ непріятелемъ и живетъ приподнятою, усиленною жизнью. Такихъ же моментовъ касается и Гаршинъ, въ своихъ превосходныхъ военныхъ разсказахъ. Купринъ беретъ армейскій

бытъ въ мирное время, когда ничто не скрашиваетъ его томительнаго однообразія.

Въ чемъ заключаются его главныя черты, какими ихъ видитъ и рисуетъ авторъ «Поединка», «Ночной смѣны», «Похода», «Ночлега», «Дознанія» — объ этомъ я говорить не буду: замѣчу только, что каковъ бы ни былъ взглядъ Куприна на цѣлое,—къ отдѣльнымъ лицамъ, входящимъ въ составъ этого цѣлаго, онъ относится не только безъ злобы, не только съ желаніемъ все понять и если не все, то многое простить, но иногда съ горячею любовью. Въ «Поединкѣ», напримѣръ, сочувствіе автора принадлежитъ не только отрицателю войны и постояннаго войска Назанскому, не только жертвѣ военнаго быта—Ромашеву, не только тѣмъ кто, подобно Рафальскому, старается забыть среди любимыхъ занятій тяготы военной службы или, подобно Зегржту, самоотверженно несетъ ихъ ради пропитанія семьи, но и служакѣ стараго покроя, полковому командиру Шульговичу, подъ жесткой оболочкой скрывающему доброе сердце. Даже въ такихъ отталкивающихъ типахъ, какъ капитанъ Слива, авторъ прежде всего видитъ людей глубоко несчастныхъ. Все, изъ чего слагается жизнь офицера гдѣ-нибудь въ глухомъ уголкѣ—мертвящее однообразіе муштровки, нездоровое оживленіе такихъ моментовъ, какъ подготовка къ пріѣзду корпуснаго командира, засасывающая тина умственной лѣни и низменныхъ развлеченій, все и всѣхъ грязнящая сплетня, интрижки, служащія суррогатомъ любви, нелѣпо пренебрежительное отношеніе къ «шпакамъ», безсмысленныя ссоры, оканчивающіяся иногда безсмысленною дуэлью—все это проходитъ передъ читателями въ рядѣ живыхъ сценъ, гдѣ рѣдко звучитъ форсированная или фальшивая нота. И вмѣстѣ съ тѣмъ оказывается, что даже на этомъ сѣромъ, тускломъ фонѣ возможны яркія красочныя пятна. Всѣмъ памятно чудное описаніе царскаго смотра въ «Разсказѣ рядового Иванова», Гаршина; всѣмъ памятенъ стихійный восторгъ людей, идущихъ мимо своего верховнаго вождя на встрѣчу опасности и смерти. Нѣчто подобное, при несравненно болѣе будничныхъ и прозаи-

ческихъ условіяхъ, испытываетъ подпоручикъ Ромашевъ, готовясь пройти церемоніальнымъ маршемъ передъ боевымъ генераломъ. «Легкимъ и лихимъ шагомъ выходитъ Ромашевъ передъ середину своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растетъ въ его душѣ... Красота момента опьяняетъ его. На секунду ему кажется, что это музыка обдаетъ его волнами такого жгучаго, ослѣпительнаго свѣта и что мѣдные, ликующіе крики падаютъ сверху, съ неба, изъ солнца... Сладкій, дрожащій холодъ бѣжитъ по его тѣлу и дѣлаетъ кожу жесткой и приподымаетъ и шевелитъ волосы на головѣ». За этимъ мгновеннымъ подъемомъ слѣдуетъ жестокое паденіе—но подъемъ всетаки былъ, онъ неотразимо охватилъ собою даже такого вовсе не военнаго человѣка, какъ Ромашевъ. Это—вѣрно подмѣченная и многое объясняющая черта военной психологіи. И она проявляется не только въ такія торжественныя минуты военной жизни, какъ дефилированіе передъ высшимъ начальствомъ, не только въ такомъ усиленно и болѣзненно работающемъ воображеніи, какимъ обладалъ Ромашевъ; она свойственна и солдатской массѣ, въ ея обыденномъ существованіи. Въ разсказѣ «Ночлегъ» солдаты, изнуренные продолжительнымъ переходомъ, подтягиваются, подъ звуки залихватской пѣсни, при входѣ въ деревню, чтобы произвести надлежащее впечатлѣніе на ея жителей. «Имъ военная служба страшнѣй самого чорта» — думаетъ каждый солдатъ, проходя мимо толпы съ «притворно-равнодушнымъ видомъ». «А я вотъ ничего не боюсь и на мужиковъ вниманія не обращаю, потому что мнѣ некогда, я своимъ солдатскимъ дѣломъ занятъ, самымъ важнымъ и серьознымъ дѣломъ въ мірѣ». Эту мысль Авиловъ (офицеръ, герой разсказа) «читалъ на всѣхъ лицахъ, начиная съ запѣвалы и кончая послѣднимъ штрафованнымъ татариномъ, и самъ онъ, противъ воли, проникался сознаніемъ какой-то суровой лихости и шелъ легкой, плывущей походкой, высоко поднявъ голову и выпрямивъ грудь». Но какъ рѣдки подобныя минуты самообольщенія и самозабвенія! Для нихъ нужна особенная обстановка, нарушающая das ewige Einerlei военнаго

быта. Когда солдаты (въ «Поединкѣ«) «веселятся» въ назначенное для того время, по приказу начальства, въ ихъ пляскѣ, какъ и въ ихъ пѣніи, «есть что-то деревянное, мертвое, отъ чего хочется плакать». Да и въ тѣхъ долгихъ и дальнихъ маршахъ, лицевая сторона которыхъ промелькнула передъ нами въ «Ночлегѣ», сколько тяжелаго, удручающаго, вызывающаго злобныя чувства! Это показано Куприпымъ въ разсказѣ «Походъ». «Рота все идетъ и идетъ по грязной дорогѣ, и кажется, что никогда не будетъ конца этому движенію, что какая-то чудовищная сила овладѣла тысячами взрослыхъ, здоровыхъ людей, оторвала ихъ отъ родныхъ угловъ, отъ привычнаго, любимаго дѣла и гонитъ—Богъ вѣсть куда и зачѣмъ—среди ненастной ночи».

Что̀ можетъ быть, по видимому, болѣе ординарно, чѣмъ исторія нѣсколькихъ часовъ изъ жизни рядового, назначеннаго, за какую-то провинность, на лишнее дежурство? Куприпъ такъ сроднился съ солдатомъ, такъ хорошо изучилъ его психику, что могъ написать на эту тему разсказъ, полный живого интереса («Ночная смѣна»). Всѣ впечатлѣнія, испытываемыя Меркуловымъ среди сначала шумной, потомъ засыпающей, наконецъ спящей казармы, проходятъ передъ нами въ быстро смѣняющемся калейдоскопѣ. Не Богъ знаетъ какъ велика непріятность вынужденнаго бодрствованія, хотя бы и въ неприглядной, но привычной обстановкѣ — и всетаки намъ жаль Меркулова, оторваннаго отъ почвы, одинокаго въ толпѣ чуждыхъ ему людей. Три солдата поютъ пѣсню, знакомую Меркулову еще по деревнѣ. Когда они умолкаютъ, онъ долго дожидается, чтобы они опять запѣли; ему нравится неопредѣленная грусть и жалость къ самому себѣ, которую всегда вызываютъ въ немъ печальные мотивы. Но солдаты лежатъ молча: «должно быть, заунывная пѣсня и на нихъ навѣяла молчаливую тоску». Все постепенно затихаетъ. «Солдаты лежатъ на нарахъ, покрытые сѣрыми шинелями. При тускломъ, коптящемъ свѣтѣ ночниковъ очертанія спящихъ фигуръ теряютъ рѣзкость, сливаются, и кажется, будто это лежатъ не люди, а сѣрые, однообразные и неподвижные вороха шинелей.... Мер-

кулову жутко и тягостно. Всего нѣсколько минутъ назадъ всѣ эти сто человѣкъ ходили, смѣялись, разговаривали, бранились... и вотъ они, всѣ до одного, лежатъ неподвижные, стонущіе и храпящіе, объятые и унесенные какой-то другой, непонятной, таинственной жизнью. Для нихъ нѣтъ уже болѣе ни военной службы, ни мрака казармы, ни безпокойнаго, мечущагося сосѣда, ни одиноко бродящаго со своей тоской Меркулова. И темный ужасъ заползаетъ понемногу въ сердце Меркулова, съеживаетъ кожу на его черепѣ и волной холодныхъ мурашекъ бѣжитъ по его спинѣ». Не потому ли для Меркулова такъ и тяжела невозможность заснуть, что только во снѣ онъ забываетъ о томящей и давящей его дѣйствительности?... «Никогда еще Меркуловъ не чувствовалъ себя такимъ покинутымъ, затерянным, жалкимъ... Хочется ему поговорить съ какимъ-нибудь добрымъ и молчаливымъ человѣкомъ, объяснить ему жалостными словами всѣ свои горести и заботы... Да гдѣ же его найдешь, этого человѣка»? Мимолетное утѣшеніе ему даетъ дремота, уносящая его въ родную деревню. Когда онъ просыпается, «ему страшно жаль только что видѣнной черной весенней дороги, запаха свѣжей земли и нарядаго отраженія прибрежныхъ ветлъ въ гладкомъ зеркалѣ рѣки».

Въ такомъ разсказѣ, какъ «Ночная смѣна» — безъ завязки и развязки, почти безъ сюжета — особенно ясно отражается талантъ Куприна, позволяющій ему глубоко проникать въ чужую душу, слѣдить за едва замѣтными ея движеніями. Тоже самое можно сказать и о нѣсколькихъ другихъ небольшихъ этюдахъ: «Въ циркѣ», гдѣ авторъ, нисколько не идеализируя мало симпатичную профессію атлета, съумѣлъ возбудить сочувствіе и интересъ къ судьбѣ одного изъ ея представителей; «Конокрады», съ рельефными фигурами Бузыги и Козла, съ потрясающей финальной сценой безпощадной мірской расправы; «Лѣсная глушь», гдѣ, безъ всякаго подражанія «Запискамъ охотника», вырисовываются типы, могущіе стать недалеко отъ Тургеневской галлереи крестьянскихъ портретовъ; «Болото», гдѣ яркими чер-

тами изображена гиблая мѣстность, съ постепенно вымирающей отъ тлетворнаго ея дыханія семьей; «Трусъ», гдѣ за оригинальной драматической сценой, разыгрываемой въ еврейскомъ винномъ погребкѣ, идетъ захватывающее описаніе ночной экспедиціи контрабандистовъ—заматорѣлаго въ этомъ дѣлѣ Файбиша и неопытнаго, боязливаго новичка Цирельмана. Вездѣ у Куприна выступаетъ на первый планъ душевная жизнь дѣйствующихъ лицъ—покорнаго судьбѣ лѣсника и его ропщущей жены («Болото»), жалкаго бѣдняка, колеблящагося между надеждой и страхомъ («Трусъ»), мальчика Василя, со страхомъ и невольнымъ уваженіемъ взирающаго на избиваемаго крестьянами Бузыгу («Конокрады»). Чтобы произвести желанное дѣйствіе, Куприну достаточно, поэтому, иногда очень немногихъ штриховъ. Такъ, напримѣръ, въ разсказѣ: «Allez», отнесенномъ авторомъ къ числу «мелкихъ», одно слово резюмируетъ собою цѣлую жизнь несчастнаго, всѣми понукаемаго существа, въ первый разъ вспоминающаго о томъ, что у него есть собственная воля, только для того, чтобы рѣшиться на самоубійство.

Нѣкоторые разсказы Куприна могутъ быть названы настоящими tours de force, въ виду ихъ оригинальной темы или своеобразной формы. Не всѣ они одинаковы удачны. Разсказъ: «Съ улицы» ведется отъ имени «бывшаго человѣка», падавшаго со ступеньки на ступеньку, дошедшаго до преступленія и примирившагося, въ концѣ концовъ, съ ролью профессіональнаго попрошайки. Кто-то заинтересовался его судьбою—и онъ выкладываетъ передъ этимъ случайнымъ собесѣдникомъ всѣ тайны своего прошлаго. Мало вѣроятна такая откровенность, неестественно звучатъ многія части повѣствованія; можно подивиться ловкости, съ которою авторъ говоритъ устами своего героя—но отъ ловкости до искусства еще далеко. Гораздо выше стоитъ «Мирное житіе». Въ изображеніи человѣка, занимающагося, безъ всякой корыстной или вообще личной цѣли, доносами и раскрытіемъ чужихъ тайнъ и воображающаго себѣ, что онъ дѣлаетъ этимъ полезное и даже богоугодное дѣло—легко было

впасть въ шаржъ, въ утрировку: авторъ этого избѣжалъ, и Иванъ Віонорычъ Насѣдкинъ вышелъ у него живымъ лицомъ. Съ большой виртуозностью преодолѣна трудность задачи и въ разсказѣ: «Обида». Группа профессіональныхъ воровъ является къ молодымъ адвокатамъ, собирающимъ данныя о только что происшедшемъ еврейскомъ погромѣ—и протестуетъ съ негодованіемъ противъ слуховъ, приписывающихъ имъ сообщничество съ погромщиками. Что въ рѣчи, произносимой представителемъ воровской организаціи, много остроумія и юмора—это неудивительно; но по истинѣ мастерски выдержанъ тонъ и соблюдена правдоподобность во всемъ томъ, что̀ говоритъ ора̀торъ. Не менѣе искусно А. И. Куприпъ справился съ другой, еще болѣе трудной темой. Въ разсказѣ: «Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ» выведенъ на сцену японецъ, изъ патріотизма взявшій на себя обязанности шпіона, одѣвшій русскую военную форму и въ совершенствѣ исполняющій свою опасную роль. Никому не приходитъ въ голову никакихъ на его счетъ сомнѣній; всѣ видятъ въ немъ зауряднаго, недалекаго армейца и не стѣсняясь говорятъ при немъ о ходѣ войны, о нашихъ неудачахъ (дѣйствіе происходитъ въ маѣ 1905-го года). Подозрѣнія зарождаются и постепенно крѣпнутъ только въ умѣ фельетониста большой газеты, «собирателя человѣческихъ документовъ», обратившаго въ какой-то особый спортъ выслѣживаніе «рѣдкихъ и странныхъ проявленій человѣческаго духа». Онъ догадывается, въ концѣ концовъ, что̀ представляетъ собою мнимый штабсъ-капитанъ. Опасность, однако, грозитъ послѣднему не съ этой стороны. Страшное напряженіе воли и вниманія, требуемое рискованною игрою, неизбѣжно вызываетъ реакцію. Оставшись наединѣ съ женщиной, Рыбниковъ отдается всецѣло страстному порыву и отчасти подъ его вліяніемъ, отчасти въ наступившемъ послѣ него полуснѣ, произноситъ слова, выдающія его тайну. Разсказъ оканчивается въ ту минуту, когда японцу не удалась отчаянная попытка бѣгства и онъ очутился, съ сломанной ногой, въ рукахъ полицейскаго агента. Во всемъ разсказѣ, сжатомъ и сильномъ,

нѣтъ ни одного лишняго слова; драматизмъ положенія говоритъ самъ за себя; все то, на чемъ охотно и долго остановились бы искатели ощущеній извѣстнаго рода, затронуто смѣло, но сдержанно, именно на столько, на сколько это было необходимо по ходу дѣйствія. Мнѣ думается, поэтому, что «Штабсъ-капитану Рыбникову» принадлежитъ по праву очень видное мѣсто въ нашей современной литературѣ.

Изъ числа произведеній А. И. Куприна, подлежащихъ въ настоящее время суду Академіи, къ типу романа, по объему и по замыслу, приближаются два: «Молохъ» и «Поединокъ». Въ первомъ много талантливыхъ страницъ, но цѣлому недостаетъ законченности и единства. Интересъ, сосредоточивающійся сначала на жизни завода, переходитъ потомъ на любовную авантюру заѣзжаго дѣльца и на связанные съ нею разсчеты и интриги. Параллельно съ этимъ блѣднѣетъ и стушевывается герой разсказа, инженеръ Бобровъ. Можно было думать, что центральнымъ узломъ дѣйствія будетъ отношеніе Боброва къ заводской работѣ, къ тяжелымъ проблемамъ заводскаго быта — а на самомъ дѣлѣ все сводится къ его разочарованію въ любимой дѣвушкѣ. Какъ ни эффектно описаніе пикника, съ рѣчами Квашнина и Андреа, оно не заставляетъ забыть о проклятіяхъ, которыя Бобровъ посылалъ промышленному Молоху, о тѣхъ немногихъ сценахъ, гдѣ передъ нами мелькали жертвы Молоха — рабочія массы. Самое заглавіе разсказа остается не вполнѣ оправданнымъ; авторъ, повидимому, измѣнилъ своему первоначальному замыслу.... Отъ недостатковъ «Молоха» свободенъ «Поединокъ». Судьба подпоручика Ромашева неразрывно связана съ жизнью полка, въ которомъ онъ служитъ; на фонѣ военнаго быта отчетливо вырисовывается личная трагедія молодого офицера. У Боброва и Ромашева есть кое-что общее, но это не мѣшаетъ каждому изъ нихъ представлять собою совершенно опредѣленную индивидуальность. У обоихъ есть отдаленное сходство съ «лишними людьми», сыгравшими столь важную роль въ исторіи нашей литературы; но это еще не значитъ, что мы видимъ

здѣсь только новыя варіаціи на старую тему. Нѣтъ: Ромашевъ и Бобровъ могутъ считаться лишними только съ точки зрѣнія той среды, въ которую ихъ поставилъ случай. Въ Бобровѣ есть задатки реформатора; при другихъ условіяхъ, не смотря на всю свою нервность, онъ могъ бы перейти отъ слова къ дѣлу. Ромашевъ полонъ стремленій къ высшему и свѣтлому, но не знаетъ, какъ осуществить ихъ, куда приложить свои силы. Его постоянно работающее воображеніе сосредоточивается на немъ самомъ, рисуя картины, чѣмъ онъ могъ бы быть, что̀ могли бы увидѣть въ немъ другіе; но стоило бы только измѣниться обстановкѣ—и оно сослужило бы ему большую службу, намѣчая и освѣщая путь къ лучшему будущему. Удачно обрисована авторомъ и Шурочка, нѣжная и вмѣстѣ съ тѣмъ до жестокости честолюбивая, полу-сознательно толкающая Ромашева на вѣрную смерть. Тонко и сдержанно написана послѣдняя сцена ея съ Ромашевымъ, послѣ которой особенно сильное впечатлѣніе производитъ сухой, оффиціальный рапортъ о поединкѣ. Изъ числа другихъ дѣйствующихъ лицъ всего больше удался автору Назанскій. Быть можетъ, его устами говоритъ иногда самъ А. И. Купринъ; но это не уменьшаетъ жизненности и художественной правды его рѣчей, органически сливающихся съ ходомъ разсказа.

Талантъ А. И. Куприна нуждается не въ поощреніи, а въ признаніи. Разсказы, представленные имъ на судъ Академіи, даютъ ему, по моему убѣжденію, несомнѣнное право на полную Пушкинскую премію.

К. Арсеньевъ.

II.

Иванъ Бунинъ. *Томъ третій. Стихотворенія 1903—1906 г. С.-Петербургъ, 1906 г. — Томъ четвертый. Стихотворенія 1907 г. Годива, поэма Теннисона. Изъ „Золотой легенды", Лонгфелло. Каинъ, Мистерія Байрона. С.-Петербургъ, 1908 г.*

1.

Имя Ивана Бунина не безызвѣстно въ литературѣ. Въ 1903 году вышли вторымъ томомъ его стихотворенія. Годъ спустя третьимъ изданіемъ напечатаны его разсказы въ прозѣ. Ему же принадлежитъ переводъ пѣсни о Гайаватѣ Лонгфелло. Не касаясь этихъ перечисленныхъ трудовъ, займемся разсмотрѣніемъ третьяго и четвертаго томовъ Стихотвореній.

Г. Бунинъ хорошо владѣетъ стихомъ, который у него безукоризненъ съ внѣшней стороны. Въ этомъ отношеніи мы имѣемъ дѣло не съ начинающимъ писателемъ, а со стихотворцемъ, побѣдившимъ черный трудъ изложенія поэтической мысли столь же поэтическою рѣчью. Уже во II томѣ, не подлежащемъ нашему разбору, у г. Бунина встрѣчается не мало стихотвореній своеобразныхъ, образныхъ, полныхъ точнаго и картиннаго описанія, удачныхъ оборотовъ и сравненій. Онъ умѣетъ придать обыкновенному предмету поэтическую прелесть. Вотъ нѣсколько примѣровъ:

Ракета.

Былъ поздній часъ — и вдругъ надъ темнотой,
Высоко надъ уснувшею землею,
Прорѣзавъ ночь оранжевой чертой,
Взвилась ракета бѣшеной змѣею.

Стремительно порывъ ее вознесъ...
Но мигъ одинъ — и въ темное забвенье
Уже текутъ алмазы крупныхъ слезъ
И медленно ихъ тихое паденье.

Чтобы написать это, надо быть поэтомъ. То же слѣдуетъ сказать и объ осьмистишіи

Въ маѣ.

Все темнѣй и кудрявѣй березовый лѣсъ зеленѣетъ;
Колокольчики ландышей въ чащѣ зеленой цвѣтутъ;
На разсвѣтѣ въ долинахъ тепломъ и черемухой вѣетъ,
Соловьи до разсвѣта поютъ.
Скоро Троицынъ день, скоро пѣсни, вѣнки и покосы...
Все цвѣтетъ и поетъ, молодыя надежды тая...
О, весеннія зори и теплыя майскія росы!
О, далекая юность моя!

Такъ же чиста и прекрасна

Эпиталама.

Озаренъ былъ сумракъ мрачный
Въ старомъ храмѣ и сіялъ
Чистый образъ новобрачной
При огняхъ, въ фатѣ прозрачной,
Подъ молитвенный хоралъ.
А изъ оконъ ночь синѣла;
Зимній вечеръ темепъ былъ,
Вьюга въ сумракѣ шумѣла,
Грустно съ колоколомъ пѣла,
Подымая снѣгъ съ могилъ...

Восприми же въ часъ урочный
Юной жизни торжество!
Будь любимой, непорочной:
Близокъ мертвый часъ полночный,
Близокъ сонъ и мракъ его.

Сохрани уборъ вѣнчальный,
Сохрани цвѣты твои:
Въ жизни краткой и печальной
Свѣтитъ только безначальный
Непорочный свѣтъ любви!

Много въ этомъ II томѣ стихотворѣній, заслуживающихъ вниманія; особенно нравятся въ немъ: Въ февралѣ (стр. 65), Весеннее (66), «Зной, но ясно» (83), «Изъ тѣсной пропасти ущелья» (191). Томъ заканчивается милыми словами

Я буду жить и сладко плакать
И славить радость бытія,

на которыя хочется отвѣтить поэту искреннимъ сочувствіемъ и горячимъ пожеланіемъ свѣтлыхъ и чистыхъ вдохновеній.

2.

Если бы мнѣ былъ предоставленъ выборъ, я бы предпочелъ второй томъ третьему, а третій четвертому: въ двухъ послѣднихъ, по моему, больше недостатковъ, бросающихъ тѣнь на свѣтлое впечатлѣніе, получаемое отъ только что приведенныхъ созданій г. Бунина. Тѣмъ не менѣе и въ послѣднихъ двухъ томахъ есть много стихотвореній, дѣлающихъ честь автору. Нерѣдко встрѣчаются у него своеобразно-поэтическія выраженія, напр., «Золотой иконостасъ заката», «Смотритъ, какъ ангелъ лазурный, весеннее утро на нихъ», «Давно слизалъ, размылъ прибой жемчужный съ сырыхъ песковъ слѣды подковъ», «Ночная

пѣснь цвѣтовъ—дыханье розъ въ садахъ—беззвучной музыкой плыветъ, благоухая». Вотъ двѣ строфы изъ стихотворенія «Олень»:

Вотъ снова слѣдъ—размѣренный и рѣдкій...
И вдругъ—прыжокъ! И далеко въ лугу
Теряется собачій гонъ—и вѣтки,
Обитыя рогами на бѣгу.

О какъ легко онъ уходилъ долиной!
Какъ бѣшено, въ избыткѣ свѣжихъ силъ,
Въ стремительности радостно-звѣриной
Онъ красоту отъ смерти уносилъ.

Вѣрный глазъ и наблюдательность автора проявились въ описательной точности: «Расплавленной смолой сверкаетъ черный киль рыбацкаго челна на мели золотистой». Можно сказать, что поэтъ уподобился тутъ живописцу и что описываетъ онъ не словами, а красками. Или еще:

Вонъ чайка сѣла въ бухточкѣ скалистой,
Какъ поплавокъ . . . Взлетаетъ иногда —
И видно, какъ струею серебристой
Сбѣгаетъ съ лапокъ розовыхъ вода.

Иногда какой нибудь мелочью, вѣрно подмѣченной, незначительной подробностью нашъ авторъ умѣетъ придать много жизненности тому, что описываетъ. Въ стихотвореніи «Послѣ битвы»:

Воткнувъ копье, онъ сбросилъ шлемъ и легъ.
Курганъ былъ жесткій, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жегъ...
Осенней сушью жарко дуло съ юга.
И умеръ онъ.

Это воткнутое копье и сброшенный шлемъ дышатъ правдой, жизнью!

Но реализмъ иногда оказываетъ автору и плохія услуги, доводя чуть ли не до цинизма:

Одиночество.

И вѣтеръ, и дождикъ, и мгла
Надъ холодной пустыней воды.
Здѣсь жизнь до весны умерла,
До весны опустѣли сады.
Я на дачѣ одинъ. Мнѣ темно
За мольбертомъ—и дуетъ въ окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебѣ ужъ тоскливо со мной.
Подъ вечеръ ненастнаго дня
Ты мнѣ стала казаться женой...
Чтожъ, прощай! Какъ нибудь до весны
Проживу и одинъ—безъ жены.

Сегодня идутъ безъ конца
Тѣ же тучи—гряда за грядой.
Твой слѣдъ подъ дождемъ у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мнѣ больно глядѣть одному
Въ предвечернюю сѣрую тьму.

Мнѣ крикнуть хотѣлось во слѣдъ:
«Воротись—я сроднился съ тобой»!
Но для женщины прошлаго нѣтъ:
Разлюбила—и сталъ ей чужой.
Чтожъ! Каминъ затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Не могу не замѣтить, что подобное настроеніе мало соотвѣтствуетъ обѣщанію самого автора «сладко плакать и славить радость бытія». Конечно, не всегда нашъ жизненный путь усѣянъ радостями; но если ихъ замѣняютъ невзгоды, то лучше лишній разъ промолчать, чѣмъ описывать свои неудачи въ стихотвореніяхъ, подобныхъ прозаическому «Одиночеству».

Надо поставить въ укоръ автору неясное, туманное изложеніе мысли. Есть у него стихотворенія, надъ которыми ломаешь голову, какъ надъ ребусомъ: прочтешь, перечтешь, силишься угадать смыслъ и такъ и остаешься въ недоумѣніи.

Вотъ, напримѣръ, изъ четвертаго тома:

Неугасимая лампада.

Она молчитъ, она теперь спокойна.
Но жизнь ужъ не вернется къ ней: въ тотъ день,
Когда его могилу закидали
Сырой землей, она простилась съ жизнью.

Она молчитъ, — ея душа теперь
Пуста, какъ намогильная часовня,
Гдѣ надъ нѣмой гробницей день и ночь
Горитъ неугасимая лампада.

Повидимому, рѣчь идетъ о *немъ* и о *ней*; кажется, они умерли въ одинъ день — *она* не пережила *его*. Все это очень можетъ быть. Но почему теперь душа ея пуста? И причемъ тутъ неугасимая лампада, украшающая собою и заглавіе стихотворенія.

Не болѣе понятенъ и

Судра.

Жизнь впереди, до старости далеко.
Но вотъ и я ужъ думаю о ней...
О, какъ намъ будетъ въ мірѣ одиноко!
Какъ грустно на закатѣ дней.

Умершіе оставили одежды —
Ихъ носитъ бѣдный Судра. Такъ и мнѣ
Оставитъ жизнь не радость и надежды,
А только скорбь о старинѣ.

Мы проживемъ, быть можетъ, не напрасно:
Но тѣмъ больнѣе будетъ до конца
Съ улыбкою печальной и безгласной
Влачить одежды мертвеца.

Эти стихи несомнѣнно требуютъ поясненій. Автору не мѣшало бы въ выноскѣ или въ примѣчаніи указать кто такой Судра; это имя, конечно, невѣдомо очень многимъ. Такъ же нуждаются въ растолкованіи и свѣдѣнія о томъ, что этотъ Судра носитъ одежды, оставленныя умершими. Но и помимо указанныхъ неясностей, все стихотвореніе загадочно и непонятно.

Въ горахъ.

Катится дискомъ золотымъ
Луна въ провалы черной тучи,
И таетъ въ ней, и льетъ сквозь дымъ
Свой блескъ на каменныя кручи.

Но погляди на небосклонъ:
Луна стоитъ, а дымъ мелькаетъ.
О, да! Не время убѣгаетъ —
Уходитъ жизнь, бѣжитъ, какъ сонъ.

Заключеніе опять непонятное.

Четвертый томъ открывается стихотвореніемъ съ эпиграфомъ: «Я не тушилъ священнаго огня», заимствованнымъ изъ Книги Мертвыхъ, происхожденіе которой г. Бунину не мѣшало бы повѣдать недоумѣвающему читателю:

За гробомъ.

Въ подземный міръ введетъ на судъ Отца
Сынъ, Ястребъ-Горъ. Шакалъ-Анубисъ будетъ
Класть на вѣсы и взвѣшивать сердца:
Богъ Озирисъ, богъ мертвыхъ, строго судитъ.

Я погребенъ, какъ рабъ, въ пескѣ пустынь.
Пройдутъ вѣка—и Сиріусъ, надъ Ниломъ
Теперь огнемъ горящій, станетъ синь,
Да свѣтитъ онъ спокойнѣе могиламъ.

И міръ забудетъ, темнаго, меня.
И на вѣсахъ потянетъ сердце мало.
Но я страдалъ. Я не тушилъ огня.
И я взгляну безъ страха въ ликъ Шакала.

Изъ приведенныхъ стиховъ явствуетъ, что авторъ углублялся въ тайны древней египетской миѳологіи, которыя намъ, въ нихъ непосвященнымъ, остаются темными. Если имя Озириса и знакомо большинству, то Ястребъ-Горъ и Шакалъ-Анубисъ должны бы быть очерчены читателямъ подробнѣе. И все же непонятно, почему съ вѣками Сиріусъ станетъ «синь» и вслѣдствіе этого будетъ свѣтить могиламъ спокойнѣе. Что мертвецъ упоминаетъ о своихъ страданіяхъ—ясно: они удѣлъ каждаго; но что онъ «не тушилъ огня» — надо бы пояснить.

Изъ числа непонятныхъ стихотвореній (Пугало IV, 26, Наслѣдство 30, Рыбалка 32, Дядька 38, Дикарь 47) приведу одно: оно какъ то особенно дико и едва ли кто его истолкуетъ:

Кошка.

Кошка въ крапивѣ за домомъ жила.
Домъ обветшалый молчалъ, какъ могила.
Кошка въ него по ночамъ приходила
И замирала напротивъ стола.

Столъ обращенъ къ образамъ—позабыли,
Столъ, какъ стоялъ, такъ остался. Въ углу
Каплями воскъ затвердѣлъ на полу —
Это горѣвшія свѣчи оплыли.

Помнишь? Лежитъ старичекъ-холостякъ:
Кротко закрыты рѣсницы—и кротко
Въ черненькій галстукъ склонилась бородка...
Свѣчи пылаютъ, дрожитъ нависающій мракъ...

Теменъ теперь флигелекъ по ночамъ.
Кошка проходитъ и свѣтитъ глазами.
Уголъ мерцаетъ во тьмѣ образами.
Вѣтеръ шумитъ по ночамъ.

Если не рѣдки у нашего автора непонятныя піесы, то еще чаще встрѣчаемъ мы у него невѣдомыя слова и имена, которыя надо бы разъяснить читателю. Ихъ много въ восточныхъ стихотвореніяхъ и особенно въ отдѣлѣ Исламъ (III томъ): Іазаты, барантъ, Отары, Сакаръ, Джиннатъ, Ковсерь, Эски, Геджасъ, Ирамъ, тюрбэ, Элифъ, Ламъ, Мимъ, друзъ, дзаригъ, Истара, Апитъ. Получается впечатлѣніе, точно бродишь въ потемкахъ и ощупью отыскиваешь дорогу...

Логичность мышленія иногда измѣняетъ нашему автору:

Сатурнъ.

Разсѣянныя огненныя зерна
Произрастаютъ въ мірѣ безъ конца.
При видѣ звѣздъ, душа на мигъ покорна:
Непостижимъ и вѣченъ трудъ Творца.

Но къ полночи восходитъ на востокѣ
Мертвецъ Сатурнъ—и блещетъ, какъ свинецъ...
Воистину зловѣщи и жестоки
Твои дѣла, Творецъ

Мнѣ кажется, что заключительный выводъ о жестокости Творца грѣшитъ противъ логики и во всякомъ случаѣ неожиданъ.

Не всегда поэтичны и удачны у г. Бунина сравненія; не могу одобрить уподобленій въ родѣ слѣдующихъ: «Песокъ, свер-

кающій, какъ ртуть», «Я вижу кожу бегемота — горы морщинистый хребетъ». «Какъ мелкій перламутръ беззвучно моль плыветъ», «Вѣтви кедра — вышивки зеленымъ темнымъ плюшемъ».

3.

Быть можетъ, перечисленныя мною шероховатости въ произведеніяхъ г. Бунина покажутся придирками; въ оправданіе строгости своей оцѣнки приведу нѣсколько стихотвореній, свидѣтельствующихъ, что любителю поэзіи нельзя не обратить на нихъ вниманія, какъ на плоды истинно поэтическаго творчества. Отъ автора, способнаго создать выписываемыя стихотворенія, какъ отъ такого, которому много дано, надо и требовать многаго. — Тѣмъ менѣе простительны ему указанные мною недостатки.

Въ третьемъ томѣ прекрасны Хризантемы, Призраки; выпишу цѣликомъ:

Вершина.

Лѣса, скалистыя тѣснины —
И цѣлый день, въ концѣ тѣснинъ,
Громада снѣговой вершины
Изъ-за лѣсныхъ глядитъ вершинъ.

Селеній нѣтъ, ущелья дики,
Лѣса синѣютъ и молчатъ,
И сѣрыхъ скалъ нагіе пики
На скатахъ изъ лѣсовъ торчатъ.

Но цѣлый день, куда ни кину
Вдоль по горамъ смущенный взоръ, —
Лишь эту бѣлую вершину
Повсюду вижу изъ-за горъ.

Она полъ-неба заступила,
За облака ушла вѣнцомъ —
И все смирилось, все застыло
Предъ этимъ льдистымъ мертвецомъ.

У шалаша.

Распали костеръ, сумѣй
Разозлить его блестящихъ,
Убѣгающихъ, свистящихъ,
Золотыхъ и синихъ змѣй!

Ночь изъ тьмы пустого сада
Дышитъ холодомъ прудовъ,
Прѣлыхъ листьевъ и плодовъ —
Ароматомъ Листопада.

Здѣсь же—яркій зной и свѣтъ,
Тѣни пляшутъ по аллеямъ,
И бѣгущимъ жаркимъ змѣямъ,
Ихъ затѣямъ—счета нѣтъ!

Ормуздъ.

Ни алтарей, ни истукановъ,
Ни темныхъ капищъ. Міръ одѣтъ
Въ покровы мрака и тумановъ:
Боготворите только Свѣтъ.

Владыка Свѣта весь въ единомъ —
Въ борьбѣ со Тьмой. И потому
Огни зажгите по вершинамъ:
Возненавидьте только Тьму.

Ночь третью міра властно правитъ.
Но мудрый жаждетъ вѣрить Дню:
Онъ въ мірѣ радость солнца славитъ,
Онъ поклоняется Огню.

И, возложивъ костеръ на камень,
Всю жизнь свою приноситъ въ даръ
Тебѣ, неугасимый Пламень,
Тебѣ, всевидящій Датаръ!

Айя—Софія.

Свѣтильники горѣли, непонятный
Звучалъ языкъ,—Великій Шейхъ читалъ
Святой Коранъ,—и куполъ необъятный
Въ угрюмомъ мракѣ пропадалъ.

Кривую саблю вскинувъ надъ толпою,
Шейхъ поднялъ ликъ, закрылъ глаза—и страхъ
Царилъ въ толпѣ, и мертвою, слѣпою
Она лежала на коврахъ...

А утромъ храмъ былъ свѣтелъ. Все молчало
Въ смиренной и священной тишинѣ,
И солнце ярко куполъ озаряло
Въ непостижимой вышинѣ.

И голуби въ немъ, рѣя, ворковали,
И съ вышины, изъ каждаго окна,
Просторъ небесъ и воздухъ сладко звали
Къ тебѣ, Любовь, къ тебѣ, Весна!

Въ четвертомъ томѣ хороши Стрижи, Іерусалимъ (II). Привожу цѣликомъ:

Цвѣтныя стекла.

Люблю цвѣтныя стекла оконъ
И сумракъ отъ столѣтнихъ липъ,
Звенящей люстры сѣрый коконъ
И половицъ прогнившихъ скрипъ.

Люблю неясный винный запахъ
Изъ шифоньерокъ и отъ книгъ
Въ стеклянныхъ невысокихъ шкафахъ,
Гдѣ рядомъ Сю и Патерикъ.

Люблю ихъ синія странички,
Ихъ четкій шрифтъ, простой наборъ...

И серебро иконъ въ божничкѣ,
И въ горкѣ матовый фарфоръ.

И васъ, и васъ, дагеротипы,
Черты давно поблекшихъ лицъ!
И сумракъ отъ столѣтней липы,
И скрипъ прогнившихъ половицъ.

Христосъ.

По алтарямъ пустымъ и бѣлымъ
Весенній вѣтеръ дулъ на насъ,
И кто то сверху капалъ мѣломъ
На золотой иконостасъ.

И звучный гулъ бродилъ въ колоннахъ,
Среди лѣсовъ. И по лѣсамъ
Мы шли въ широкихъ балахонахъ
Съ кистями, въ куполъ, къ небесамъ.

И часто, вмѣстѣ съ малярами,
Тамъ пѣли пѣсни. И Христа,
Что слушалъ насъ въ веселомъ храмѣ,
Мы написали не спроста.

Намъ все казалось, что подъ эти
Простыя пѣсни вспомнитъ Онъ
Порогъ на солнцѣ въ Назаретѣ,
Верстакъ и кубовый хитонъ.

Изъ послѣдняго своеобразнаго стихотворенія хотѣлось бы вычеркнуть прилагательное *кубовый*, если и примѣнимый къ краскѣ. то не подходящій къ хитону.

4.

Переводъ поэмы Теннисона «Годива» исполненъ г. Буниным прекрасно и не заслуживаетъ ни малѣйшаго упрека.

Стихи подлинника переданы весьма точно; 75 англійскимъ стихамъ соотвѣтствуютъ 89 русскихъ.

Съ такою же похвалою должно отозваться и о переводѣ перваго отрывка изъ «Золотой Легенды» Лонгфелло. Жаль только, что переводчику не удалось соблюсти риѳмъ въ заключительныхъ стихахъ пятистишій.

Что же касается второго отрывка, то онъ переведенъ бѣлыми стихами, тогда какъ въ подлинникѣ чередуются постоянныя риѳмы. Это бы еще не бѣда; много хуже, что переводчикъ допускаетъ пропуски и даже искаженія.

Напримѣръ въ подлинникѣ мы читаемъ:

. . . The volume in his hand,
Wherein amazed he read:
«A thousand years in thy sight
Are but as yesterday when it is past,
And as a watch in the night!»
And with his eyes downcast
In humility he said:
«I believe, O Lord,
What is written in thy Word,
But alas! I do not understand».

Въ переводѣ:

Его глаза
Покоились на книгѣ Августина,
Гдѣ онъ прочелъ
О дивномъ и незримомъ Божьемъ Градѣ
Въ далекой и невѣдомой странѣ.
«Всѣмъ сердцемъ вѣрю
Въ Твои дѣянья, Господи! — сказалъ онъ,
Но не могу постигнуть ихъ».

Упоминаніе о книгѣ Августина, о дивномъ и незримомъ Божьемъ Градѣ въ далекой и невѣдомой странѣ принадлежитъ произвольному измышленію переводчика. Ничего такого у Лонг-

Фелло нѣтъ. Рѣшительно непонятно, откуда взялъ г. Бунинъ книгу Августина; приведенныя американскимъ поэтомъ слова цѣликомъ заимствованы изъ 5-го стиха 89-го псалма царя Давида: «Предъ очами Твоими тысяча лѣтъ, какъ день вчерашній, когда онъ прошелъ». Слѣдовательно книга въ рукахъ монаха Феликса была Библія, а не творенія Августина. — (Далѣе, г. Бунинъ почему то переводитъ Word — *дѣянья*, тогда какъ могъ бы перевести подстрочно: *глаголы;* и совершенно опускаетъ существенную подробность о смиреніи Феликса, преклоняющаго взоры. — Въ концѣ отрывка встрѣчается необычайное слово *скрипторіумъ*, котораго нѣтъ въ англійскомъ текстѣ.

5.

Болѣе половины четвертаго тома г. Бунина занимаетъ переводъ Байроновой мистеріи «Каинъ».

Надо отдать справедливость переводчику, его трудъ читается легко, почти нигдѣ не замѣтно, что передача англійскихъ стиховъ должна была стоить большого, упорнаго труда; слогъ простъ, ясенъ, гладокъ, даже звученъ. Приведу мѣста, показавшіяся мнѣ наиболѣе удачными:

АКТЪ ВТОРОЙ.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Царство смерти.

Люциферъ и Каинъ.

Каинъ.

Я думалъ о сестрѣ моей. Всѣ звѣзды,
Вся красота ночныхъ небесъ, вся прелесть
Вечерней тьмы, весь пышный блескъ разсвѣта,
Вся дивная плѣнительность заката,

Когда, слѣдя за уходящимъ солнцемъ,
Я проливаю сладостныя слезы
И, мнится, вмѣстѣ съ солнцемъ утопаю
Въ раю вечернихъ легкихъ облаковъ,
И сѣнь лѣсовъ, и зелень ихъ, и голосъ
Вечернихъ птицъ, поющій про любовь,
Сливающійся съ гимномъ херувимовъ,
Межъ тѣмъ, какъ тьма ужъ рѣетъ надъ Эдемомъ,
Все, все—ничто предъ красотою Ады:
Чтобъ созерцать ее, я отвращаю
Глаза свои отъ неба и земли...

АКТЪ ТРЕТІЙ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Мѣстность близъ Эдема.

Каинъ и Ада.

Ада.

Иди тихонько, Каинъ.

Каинъ.

Хорошо;
Но почему?

Ада.

Вонъ тамъ подъ кипарисомъ
Спитъ на листвѣ нашъ мальчикъ.

Каинъ.

Кипарисъ!
Угрюмый онъ; зачѣмъ ты положила
Подъ нимъ дитя? Онъ смотритъ такъ, какъ будто
Оплакиваетъ то, что осѣняетъ.

Ада.

Но онъ вѣтвистъ, подъ нимъ темно, какъ ночью.
Онъ точно созданъ, чтобы охранять
Отъ зноя спящихъ.

Каинъ.

Спящихъ сномъ послѣднимъ
И вѣчнымъ. Но веди меня къ Эноху.
(Подходятъ къ ребенку).
Какъ онъ красивъ! Какъ разгорѣлись щечки!
Румянецъ ихъ не уступаетъ розамъ,
Разсыпаннымъ подъ нимъ.

Ада.

А посмотри,
Какъ хорошо полуоткрылъ онъ губки!
Нѣтъ, не цѣлуй; онъ скоро самъ проснется,
Онъ выспался, но жаль будить!

Каинъ.

Да, правда,
Я удержусь пока отъ искушенья.
Онъ спитъ и улыбается: Спи мирно
И улыбайся, маленькій наслѣдникъ
Земли такой же юной, какъ ты самъ!
Спи, улыбаясь! Ты переживешь
Часы и дни невинности и счастья.
Ты не срывалъ запретнаго плода,
Не знаешь наготы своей. Настанетъ
И для тебя часъ кары за какой то
Тяжелый грѣхъ, котораго ни ты,
Ни я не совершали; но покуда
Спи безмятежно! Щечки раскраснѣлись,
Изъ подъ рѣсницъ трепещущихъ и темныхъ,

Какъ кипарисъ, колеблемый надъ нимъ,
Просвѣчиваетъ ясною лазурью
Дремотная улыбка... Спитъ и грезитъ —
О чемъ? О раѣ! — Грезь о немъ, мечтай,
Мой мальчикъ обездоленный! Онъ—греза:
Ужъ никогда и никому изъ смертныхъ
Не быть въ его обители блаженной!

Ада.

Не сѣтуй, милый Каинъ, не тоскуй
О прошломъ надъ малюткою! Что пользы
Весь вѣкъ Эдемъ оплакивать? Ужели
Нельзя создать другого?

Каинъ.

Гдѣ?

Ада.

Гдѣ хочешь:
Разъ ты со мной—я счастлива безъ рая.
Иль у меня нѣтъ мужа, нѣтъ малютокъ,
Родителя и брата, кроткой Селлы
И матери, которой мы столь многимъ
Обязаны—помимо жизни?

Каинъ.

Смертью
Мы тоже ей обязаны.

Ада.

О, Каинъ!
Тотъ гордый духъ, съ которымъ ты ходилъ,
Тебя еще сильнѣе опечалилъ.
Я думала, что дивныя видѣнья,
Которыя тебѣ онъ обѣщалъ,

Тьмы темъ міровъ отжившихъ и живущихъ,
Которые ты видѣлъ, успокоятъ,
Насытятъ умъ твой знаніемъ; но вижу,
Что духъ принесъ одно лишь зло. И все же
Я благодарна духу и готова
Простить его за то, что ты вернулся
Такъ скоро къ намъ!

Каинъ.

Такъ скоро?

Ада.

Да, прошло
Лишь два часа съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались,
Лишь два часа—по солнцу.

Каинъ.

Я вблизи
Смотрѣлъ на это солнце, созерцалъ
Міры, что озарялись имъ когда то,
Но никогда не озарятся больше,
И тѣ міры, что солнечнаго свѣта
Не вѣдали отъ вѣка: мнѣ казалось,
Что протекли года.

Ада.

Едва часы.

Каинъ.

Такъ, значитъ, духъ нашъ время измѣряетъ
Тѣмъ, что онъ видитъ: радость или скорбь,
Величье иль ничтожество; я видѣлъ
Дѣянія Безсмертныхъ, созерцалъ
Угасшія свѣтила и, взирая
На вѣчное, участвовалъ, казалось,
И самъ въ его величіи: теперь

Я снова—прахъ, и снова понимаю,
Что я—ничто: духъ истину сказалъ мнѣ.

Ада.

Нѣтъ, духъ сказалъ неправду. Самъ Іегова
Не говорилъ намъ этого.

Каинъ.

Но создалъ
Ничтожествомъ; онъ поманилъ насъ Раемъ,
Безсмертіемъ, но сотворилъ изъ праха
И въ прахъ вернетъ—скажи, за что?

Ада.

Ты знаешь,
За грѣхъ отца.

Каинъ.

А мы—въ чемъ *мы* виновны?
Онъ согрѣшилъ, пусть *онъ* и умираетъ.

Ада.

Нехорошо сказалъ ты; эти мысли
Того, кто былъ съ тобой, а не твои.
Я умереть готова—лишь бы жили
Отецъ и мать.

Каинъ.

Да,—еслибъ можно было
Насытить этой жертвой ненасытность,
И еслибъ этотъ мирно спящій крошка
И тѣ, что отъ него произойдутъ,
Не испытали смерти и страданій.

Ада.

Какъ знать, не будетъ ли когда нибудь
Такою искупительною жертвой
Спасенъ весь родъ Адама?

Каинъ.

Искупленье!
Но въ чемъ мы виноваты. Почему
Я долженъ пасть за грѣхъ, не мной свершенный,
Иль отъ другого жертвы ждать за этотъ
Таинственный и безыменный грѣхъ,
Весь состоявшій только въ жаждѣ знанья?

Ада.

Увы! Ты говоришь, что ты не грѣшенъ,
А самъ грѣшишь: твои слова—кощунство.

Каинъ.

Тогда, оставь меня.

Ада.

О, никогда,
Хотя-бы самъ Творецъ тебя оставилъ!

. . . . . .

Авель, убитый. Каинъ.

Каинъ.

Да смерть!
И это я, который ненавидѣлъ
Такъ страстно смерть, что даже мысль о смерти
Всю жизнь мнѣ отравила,—это я
Смерть въ міръ призвалъ, чтобъ собственнаго брата
Толкнуть въ ея холодныя объятья!
Я, наконецъ, проснулся,—обезумилъ
Меня мой сонъ,—а онъ ужъ не проснется!

Входятъ Адамъ, Ева, Ада и Селла.

Адамъ.

Я прихожу на скорбный голосъ Селлы.
Что вижу я? Такъ это правда? Сынъ мой!
Вотъ, женщина, слѣдъ змія!

Ева.

О, молчи,
Молчи о немъ: глубоко зубы змія
Впились мнѣ въ грудь! Мой ненаглядный Авель!
Іегова! наказанье превышаетъ
Мои грѣхи!

Адамъ.

Кто это сдѣлалъ, Каинъ?
Ты былъ при немъ,—скажи, кто это сдѣлалъ?
Враждебный ли намъ ангелъ, отступившій
Отъ Господа, иль дикій звѣрь лѣсной?

Ева.

Ахъ, въ этой тьмѣ, какъ молнія, сверкаетъ
Зловѣщій свѣтъ: вонъ головня,—смотрите.
Она въ крови!

Адамъ.

Скажи хоть слово, Каинъ,
Скажи и убѣди насъ, что въ несчастьи
Мы не вдвойнѣ несчастны.

Ада.

Отвѣчай имъ;
Скажи, что ты невиненъ.

Ева.

Онъ виновенъ,
Теперь я это вижу; онъ поникъ
Преступной головой и закрываетъ
Свирѣпый взоръ кровавыми руками.

Ада.

Мать, ты несправедлива.—Каинъ, что же
Ты не разсѣешь страшныхъ обвиненій,

Сорвавшихся съ устъ матери въ минуту
Безумныхъ мукъ?

Ева.

Внемли мнѣ, о Іегова!
Будь проклятъ онъ проклятьемъ вѣчнымъ змія!
Да будетъ онъ снѣдаемъ вѣчной скорбью,
Да будетъ. . .

Ада.

Мать! Остановись, — онъ сынъ твой,
Онъ мой супругъ, онъ братъ мой. . .

Ева.

Онъ лишилъ
Тебя родного брата, Селлу—мужа,
Меня—родного сына. Будь же онъ
Навѣки скрытъ отъ глазъ моихъ! Всѣ узы
Я разрываю съ нимъ, непощадившимъ
Связь братскихъ узъ. О, смерть! Не я-ль ввела
Тебя въ нашъ міръ? Зачѣмъ же не меня ты
Взяла отъ міра?

Адамъ.

Ева! Ты доводишь
Свою печаль до ропота на Бога.
Нашъ тяжкій рокъ былъ намъ давно предсказанъ,
И вотъ сбылось реченное,—склонимъ же
Свою главу предъ Господомъ: да будетъ
Его святая воля!

Ева.

Не Господь —
Нѣтъ, это онъ, вотъ этотъ призракъ Смерти,
Котораго на свѣтъ я породила,
Чтобъ онъ усѣялъ землю мертвецами. —

Повергъ его! Да будутъ же надъ нимъ
Проклятья всѣхъ живущихъ, и въ мученьяхъ
Пусть онъ бѣжитъ въ пустыню, какъ бѣжали
Изъ Рая мы, пока родныя дѣти
Не умертвятъ братоубійцу! Пусть
Горящими мечами херувимовъ
Преслѣдуемъ онъ будетъ дни и ночи!
Пусть всѣ плоды земные превратятся
Въ его устахъ во прахъ и пепелъ, — змѣи
Устелютъ всѣ пути его, — листву,
Гдѣ онъ главу усталую преклонитъ,
Усѣютъ скорпіоны! Пусть онъ грезитъ
Во снѣ своею жертвой, на яву —
Зритъ лишь одно — зловѣщій образъ Смерти!
Пусть всѣ ручьи, когда, сгорая жаждой,
Прильнетъ онъ къ нимъ нечистыми устами,
Ручьями крови станутъ! Пусть стихіи
Его врагами будутъ! Пусть живетъ онъ
Въ мученіяхъ, въ которыхъ умираютъ,
А смерть ему пусть будетъ хуже смерти!
Сгинь съ глазъ, братоубійца! Этотъ звукъ
Отнынѣ міръ замѣнитъ словомъ Каинъ,
И будетъ ненавистенъ онъ вовѣки
Для міріадъ сыновъ твоихъ. Пусть всюду
Гдѣ ступишь ты, трава изсохнетъ! Пусть
Зеленый лѣсъ тебѣ откажетъ въ сѣни,
Земля — въ жилищѣ, прахъ — въ могилѣ, солнце —
Въ сіяніи, и небеса — въ ихъ Богѣ!

По прочтеніи «Каина» въ переводѣ г. Бунина, хочется поздравить его съ прекрасно исполненной работой, которая, передавая по-русски чудесное произведеніе безсмертнаго англійскаго поэта, представляетъ собою цѣнный вкладъ, обогащающій нашу переводную литературу.

Но къ сожалѣнію, это отрадное впечатлѣніе значительно ослабѣваетъ при внимательномъ сличеніи перевода съ подлинникомъ. Приступивъ къ такому сличенію, я не могъ не поразиться тѣмъ, что г. Бунинъ не счелъ нужнымъ вслѣдъ за эпиграфомъ изъ книги Бытія привести ни 1821 года — времени написанія произведенія, ни перевода посвященія мистеріи Вальтеръ Скотту, а также и коротенькаго предисловія. Конечно, ни годъ, ни посвященіе, ни предисловіе не имѣютъ столь важнаго значенія, какъ текстъ самого произведенія. Но они принадлежатъ перу не какого нибудь невѣдомаго, непризнаннаго писателя, а написаны лордомъ Байрономъ, каждое слово котораго значительно. Каково же было мое изумленіе, когда и въ самомъ текстѣ мистеріи я замѣтилъ пропуски безъ всякихъ оговорокъ переводчика.

Уже въ первой сценѣ, по уходѣ Адама и Евы, въ подлинникѣ стоятъ слова Селлы (такъ переведена Zillah): Wilt thou not, my brother? Въ переводѣ эти слова отсутствуютъ, а сразу говоритъ Авель. Въ первомъ обращеніи Ады къ мужу слова My beloved Cain, въ которыхъ выражена вся ея нѣжная, неизмѣнная любовь, переданы просто: Каинъ. Во всей мистеріи я насчиталъ 25 пропусковъ; гдѣ пропущенъ одинъ стихъ, гдѣ два, три, четыре, а гдѣ восемь и даже тринадцать. Такое безцеремонное обращеніе съ классическимъ произведеніемъ совершенно недопустимо; но оно и изумительно: г. Бунинъ переводитъ весьма искусно; есть мѣста переданныя съ самой тщательной близостью къ подлиннику и нисколько не въ ущербъ красотѣ и правильности русской рѣчи. Я замѣтилъ всего одинъ оборотъ не свойственный нашему языку: на страницѣ 115 выраженіе «братъ бдитъ стада» — My brother is a watching shepherd boy — и не благозвучно и не по-русски. И къ чему понадобились переводчику столь многочисленные пропуски?

Въ концѣ 2-го акта въ рѣчи Люцифера встрѣчается имя Божіе Адонаи (съ удареніемъ Адонàи, а не Адонай, какъ въ славянскомъ переводѣ Библіи — Прор. Іезекіиля гл. 37, ст. 5).

У Байрона Люциферъ называетъ Бога не этимъ именемъ, а просто Не, т. е. Онъ.

Въ словахъ того же Люцифера, въ той же сценѣ есть и другая неточность: Thou wouldst go on aspiring to the great double Mysteries, the two Principles. Это передано такъ: «Ты стремишься къ Тайнѣ, Къ великой ипостаси Двухъ Началъ». Едва-ли тутъ умѣстна *ипостась*.

Переводчику случается иногда безо всякой надобности отступать отъ подлинника; напримѣръ въ концѣ мистеріи слова Каина: thou wilt forgive him whom his God Can ne'er *forgive*, nor his own soul переведены: «Ты простишь того, кому ни Богъ, ни собственное сердце уже не дадутъ *забвенія*». Ничто не мѣшало переводчику вмѣсто *забвенія* поставить подстрочное *прощенія*».

При несомнѣнномъ умѣніи г. Бунина переводить превосходно, нельзя не поставить ему въ вину крупныхъ погрѣшностей, безъ которыхъ ему было бы не трудно обойтись. — Въ виду наличности перечисленныхъ недочетовъ, я полагаю, что какъ стихи, такъ и переводы разсматриваемаго писателя не могутъ быть увѣнчаны Пушкинской преміей, но заслуживаютъ почетнаго отзыва.

К. Р.

Павловскъ, 17 февраля 1909 г.

III.

В. Рудичъ. „*Стихотворенія*“.

Кто любитъ поэзію, тому отрадно въ груди расплодившихся у насъ бездарныхъ, лишенныхъ художественнаго вкуса, часто намѣренно-безсмысленныхъ или непристойныхъ стиховъ отыскать прекрасныя и по содержанію, и по внѣшности стихотво-

ренія, достойныя быть названными вкладомъ въ нашу литературу.

Г-жа Вѣра Рудичъ подарила насъ небольшими сборниками, достоинство которыхъ въ томъ, что въ нихъ нѣтъ дурныхъ стиховъ. Это явленіе довольно рѣдкое, а потому должно обратить на себя вниманіе и сочувствіе Разряда Изящной Словесности.

Вѣра Рудичъ издала до сихъ поръ: «Стихотворенія» (С.-Петербургъ, изд. Суворина, 1902 г.) и «Новыя стихотворенія» (С.-Петербургъ, изд. Суворина, 1908 г.); но эти двѣ книжки по богатству и глубинѣ содержанія и по безукоризненности и изяществу внѣшности стоятъ многихъ томовъ. На вопросъ, какія погрѣшности встрѣчаются въ этихъ стихахъ, я бы затруднился дать отвѣтъ. Всѣ стихотворенія Вѣры Рудичъ, когда она говоритъ отъ своего имени, написаны отъ лица женскаго пола. Языкъ ея простъ, ясенъ, выразителенъ и всегда поэтиченъ. Одной изъ главныхъ ея особенностей и достоинствъ надо признать своеобразность, самобытность. Въ Новыхъ стихотвореніяхъ, о которыхъ собственно я и буду говорить, только изрѣдка ссылаясь на первую книжку, уже пережившую положенную для увѣнчанія трехлѣтнюю давность, я не могу указать ни одной слабой піесы, не заслуживающей названія поэтическаго произведенія.

Поразительна отзывчивость нашего мало извѣстнаго автора; какіе только предметы, явленія, случаи и чувства не вызываютъ его на созданіе, часто неожиданнаго и всегда поэтичнаго художественнаго образа. Вещи, повидимому, безусловно чуждыя поэзіи наталкиваютъ Вѣру Рудичъ на превосходныя мысли. Напр., типографскій станокъ, орудіе хотя и служащее поэзіи, но само по себѣ скорѣе враждебное ея невещественности и отвлеченности; и вотъ во что обращается этотъ станокъ, пропущенный черезъ творческую призму:

Грохочутъ машины. Такъ плавно, такъ мощно спокойно
Движенье колесъ и могучихъ стальныхъ рычаговъ!

И будто живыя, ложатся послушно и стройно
Одна за другою колонны свинцовыя словъ,
Чтобъ эти слова полетѣли, какъ вѣщая стая,
По свѣту, взывая къ сердцамъ, пробуждая умы, —
У этихъ машинъ, до разсвѣта очей не смыкая,
Въ трудѣ неустанномъ всю ночь напрягаемся мы
И въ ночи безсонныя таемъ, сгораемъ какъ свѣчи,
Въ работѣ тяжелой сгораемъ, какъ въ вѣчномъ огнѣ..
О люди, пишите лишь чистыя, свѣтлыя рѣчи,
Чтобъ стоили жизни онѣ!

И г-жа Рудичъ вѣрна этому завѣту: ея стихотворныя рѣчи всегда чисты и свѣтлы.

Въ 16-ти строкахъ, озаглавленныхъ «У огня» встрѣчается еще примѣръ умѣнья придать прозаическому предмету сіяніе поэзіи; тутъ типографскій станокъ замѣненъ—дровами. «Въ осенній вечеръ, мрачный и дождливый» видъ затопленнаго камина наводитъ автора на такія мысли:

. . .. Когда дрова горятъ,
Про жизнь свою, про лѣсъ родной и милый
Они въ бреду предсмертномъ говорятъ.
Поило солнце ихъ тепломъ и свѣтомъ,
Имъ про весну кричали журавли,
Надъ ними грозы проходили лѣтомъ,
Подъ ними мхи зеленые росли.
Все, что таитъ, чѣмъ дышитъ глушь лѣсная,
Что грезитъ въ ночи лѣтнія и дни,
Въ осенній вечеръ для тебя сгорая,
Тебѣ повѣдаютъ они.

Настоящій поэтъ не можетъ не любить, не чувствовать природы. Она постоянно отражается въ стихахъ г-жи Рудичъ, которая не довольствуется только картиной, но вѣрно и тонко подмѣтивъ то или другое явленіе внѣшняго міра и рисуя его

изящными стихами, почти всегда выведетъ какое либо нежданное заключеніе или найдетъ удачное сравненіе изъ области умственной жизни.

Только глубоко любя природу, можно написать слѣдующіе стихи:

Садится солнце. Бѣлою пустыней
Лежатъ въ снѣгахъ безбрежныя поля.
Передъ небесъ пылающихъ святыней
Въ тиши глубокой молится земля:
— «Въ моемъ святомъ, торжественномъ покоѣ
Благодарю Тебя, великій Богъ,
За это солнце золотое,
Что надо мною Ты зажегъ.
За росы, мнѣ ниспосланныя съ неба,
Когда весной и лѣтомъ я цвѣла,
За эти волны золотого хлѣба,
Что для людей Твоихъ я принесла.
Благодарю за вѣтеръ Твой могучій,
Что клонитъ все, растущее на мнѣ,
И за Твои нахмуренныя тучи,
Которыхъ бѣгъ слѣжу я въ вышинѣ.
За эту ночь, что надо мной зажжется
Въ сіяньи звѣздъ, на смѣну дня,
И за весну, которая вернется
И къ жизни новой возродитъ меня!»

Вотъ, что поетъ юной озими сѣдая метель:

— «Усни же! Усни! А потомъ и весна возвратится,
Согрѣетъ, растопитъ твою снѣговую постель.
Проснешься—и солнца узнаешь горячія ласки,
И будешь невѣстой въ цвѣтахъ и колосьяхъ стоять!»
Наслушалась озимь манящей, чарующей сказки, —
Ей тѣсно подъ снѣгомъ, ей душно, наскучило ждать.
Чуть въ оттепель зимнее солнце пригрѣетъ немножко,

Уже на пригоркахъ глядитъ, зеленѣя, она
И шепчетъ поблекшимъ стеблямъ полевого горошка!
— «Весна?»

Вотъ и еще картина весны, гдѣ голоса незримыхъ небесныхъ силъ «звучатъ землѣ ликующимъ призывомъ»:

— «Дни воскрешенья! Дни живой весны!
Идите всѣ, кто хочетъ исцѣлиться.
Въ поляхъ, въ лѣсахъ средь чуткой тишины,
За чудомъ чудо свѣтлое творится!
Уже проснулся къ жизни мертвый лѣсъ,
Сталъ мертвый снѣгъ водой животворящей.
Нѣмой проказой съѣденный, незрящій —
Идите всѣ! Вернулись дни чудесъ!
И вы, чье сердце, мертвое давно,
Уже смердитъ, какъ Лазарь погребенный,
И вы идите — оживетъ оно
Въ дни воскрешенья всей вселенной!»

Одухотвореніе природы хорошо удается г-жѣ Рудичъ; еще въ первой ея книжкѣ есть прекрасное изображеніе весны, откуда приведу нѣсколько строкъ:

Шумомъ за день земля, наконецъ, утомилася,
Но унять болтовню ей невмочь;
И на помощь усталой тихонько спустилася
Съ неба синяго строгая ночь;
Надъ землею раскинула пологи черные
И шепнула: — «Засните—пора!» —
И цвѣты, и деревья, и птицы задорныя
Замолчали сейчасъ до утра,
Лишь одни повелѣній ея не боялися,
Не послушались слова: — «молчи» —
И до утра бѣжали, журчали, смѣялися
По оврагамъ ручьи и ключи.

Закончу картины природы милымъ восьмистишіемъ:

Холодомъ вѣетъ. Осенняя мгла нависаетъ.
Красные теплые дни миновали давно.
Сѣятель ходитъ и въ борозды сѣмя бросаетъ,
Въ черную мертвую землю сухое зерно.
Вѣритъ, что лѣто дохнетъ животворною силой,
Вѣритъ, что къ жизни возстанетъ зерно изъ земли..
Боже! Стоящимъ предъ свѣжей могилой
Вѣры такой ниспошли!

Жаждѣ вѣры, которою томится душа нашего автора, обязаны мы слѣдующими стихами:

Боже! Когда я о счастьѣ и мирѣ просила,
Могъ Ты отвѣта не дать:
Пусть повелѣла Твоя непонятная сила
Только страдать.
Послѣ, когда я просила о знакѣ прощенья
Душу томящихъ грѣховъ —
Пусть на рыданья, на муки мои и моленья
Ликъ Твой смотрѣлъ молчаливъ и суровъ.
Нынѣ я вѣры прошу! У пучинъ отрицанья
Сердце дрожитъ и стучится въ закрытую дверь.
Если Ты есть и Твои мы созданья —
Боже! Отвѣть же теперь!

Къ жаждѣ вѣры примыкаетъ жажда свѣта, добра и чистоты:

Въ эти кровавые бурные дни
Хочется сердцу забыться.
Мракъ на землѣ и страданья одни.
Сердце по свѣтломъ томится.
Манитъ далекихъ небесъ синева:
Все тамъ свѣтло и прекрасно.
Въ древнихъ сказаніи святыя слова
Хочется вѣрить такъ страстно.

Грезится ангельскихъ крылъ чистота,
Рая врата золотыя,
Грѣшнаго міра святая мечта —
Чистая Матерь Марія...

Близкія и дорогія сердцу каждаго имена—мать, няня, учитель—нашли себѣ теплое мѣсто въ стихахъ Вѣры Рудичъ. На первой же страницѣ разбираемой книжки читаемъ:

Матери.

Когда придешь къ закрытой двери рая,
И Божій ангелъ станетъ вопрошать:
«Какъ протекла вся жизнь твоя земная?»
Одно ему отвѣтишь ты: «Я мать».
И молча онъ отступитъ отъ порога,
Чтобъ въ свѣтлый рай тебѣ скорѣй войти:
Вѣдь знаютъ только на небѣ у Бога,
Что въ жизни мать должна перенести!

Какъ задушевны и трогательны мысли, высказываемыя нашимъ авторомъ «на могилѣ у няни, на сельскомъ кладбищѣ»:

. . . Ни невѣстой стыдливой ее не ласкали,
Ни счастливой женою она не была —
Только матери скорби, труды и печали
На свои терпѣливыя плечи взяла.
Сколько видѣли дѣти любви беззавѣтной.
Сколько видѣла съ ними заботы она!
Въ этой жертвѣ безкровной, простой, незамѣтной,
Какъ свѣча предъиконная—жизнь сожжена.
. . . . . .
Умирая, дѣтей вспоминала тоскливо,
Въ бѣломъ платьѣ просила себя схоронить,
Чтобъ Христовой невѣстой, нарядной, стыдливой,

Ей достойно въ небесное царство вступить.
Въ небѣ рая врата распахнулись святыя:
Изъ чертоговъ сіяющихъ вышла встрѣчать
Непорочная Дѣва и Матерь Марія
Тоже дѣвственно чистую мать.

Въ первомъ сборникѣ Вѣры Рудичъ, въ Старушкѣ, которой посвящены 12 милыхъ строкъ, тоже хочется видѣть няню: ея старыя руки вяжутъ кружево, она молчитъ, опущенный взоръ ясенъ;

Кажется, будто мудренымъ вязаньемъ
Мысли старушки полны.
Только сама про себя она знаетъ,
Петли считая его,
Сколько горячихъ молитвъ прочитаетъ,
Сколько припомнитъ всего.

Съ только что приведенными стихотвореніями сродно по духу и слѣдующее:

Памяти учителя.

Онъ ясенъ былъ душой и вѣчно молодъ.
Но злая смерть пришла сказать — «Пора».
И онъ ушелъ въ могильный мракъ и холодъ,
Учитель правды и добра.
Но чутокъ сонъ того, кто юнъ душою:
Надъ нимъ земля могильная легка,
И каждый звукъ борьбы съ неправдой злою
Къ нему дойдетъ, какъ зовъ изъ далека.
И если кто, храня его завѣты,
Но истомясь въ измѣнчивой борьбѣ,
Зоветъ къ нему: «Учитель добрый, гдѣ ты?
О, какъ теперь нуждаюсь я въ тебѣ!»
То вѣрю я: любовь и состраданье

Хотя на мигъ поборятъ смертный сонъ,
И, преступивъ загробное молчанье,
— «Мужайся, другъ!» — отвѣтитъ онъ.

Необыкновенная въ наши дни скромность, полное смиреніе и совершенное отсутствіе горделивыхъ вожделѣній сильно подкупаютъ въ пользу нашего автора. Вотъ примѣръ:

Раскрылись двери брачнаго чертога,
Тепла и свѣта хлынула волна,
И Самъ Хозяинъ добрый у порога
Мнѣ говоритъ: — «Войди. И ты звана».
А я стыдомъ горю и холодѣю
И чуть могу въ отвѣтъ произнести:
— «Одежды брачной не имѣю
И не могу войти». —

Это же столь привлекательное въ авторѣ смиреніе, не позволяетъ ему завидовать дикимъ лебедямъ, сѣрымъ чайкамъ и орламъ, гордымъ, мощнымъ птицамъ, которымъ надо свободы, горныхъ высей и безбрежныхъ водъ:

Я не хочу ни заоблачныхъ горъ, ни морей:
Холодно сердцу въ широкомъ безлюдномъ просторѣ,
Въ высь не доходятъ глухія рыданья людей,
Сверху не видно въ груди затаенное горе.
Ласточкой черной хочу надъ землею летать,
Крыльями травы росистыхъ полей задѣвая,
Шопотъ молитвенный, тихіе стоны сбирать,
Все, что собой суета заглушаетъ земная.
И на разсвѣтѣ, когда по полямъ и лугамъ
Бѣлой волной подымаются къ небу туманы,
Ношу мою дорогую я имъ передамъ —
Пусть отнесутъ ее Богу въ надзвѣздныя страны!

Г-жа Рудичъ полна сочувствія къ трудящимся, ей близки людскія горести, она принимаетъ къ сердцу скорби слабыхъ,

униженныхъ, обездоленныхъ, сострадаетъ грѣшникамъ и умѣетъ по завѣту Пушкина «милость къ падшимъ призывать». Вотъ она «среди полей желтѣющей пшеницы»; навстрѣчу ей везутъ тяжелые снопы; земля «зоветъ жнецовъ и жницъ на пышныя поля»:

И стыдъ меня гнететъ предъ этой спѣлой нивой,
Что не могу съ серпомъ на зовъ ея идти,
Что я пришла сюда походкою лѣнивой
И пестрые цвѣты сбирала по пути.

Вотъ отзвукъ на людское горе:

Счастье лукаво: глаза застилаетъ туманомъ,
Въ этомъ туманѣ плывутъ золотыя видѣнья.
Сердце людское, хмелѣя желаннымъ обманомъ,
Стоновъ чужихъ не услышитъ въ блаженствѣ забвенья.
Горе честнѣе: мечтаній покровъ совлекая,
Свѣтомъ зловѣщимъ освѣтитъ всѣ бездны страданья.
Сердце, слезами и кровью живой истекая,
Чутко, какъ струны, для стоновъ людскихъ и рыданья.

Тѣмъ же духомъ любви къ ближнему проникнуто и слѣд. стихотвореніе:

Идутъ герои на подвигъ бранный,
Идутъ, какъ шли бы на пиръ желанный.
Чѣмъ больше пало, чѣмъ гуще врагъ —
Тѣмъ выше возносятъ завѣтный стягъ.
А тѣ, кто слабы, кто не для битвы,
Они сгораютъ въ огнѣ молитвы,
И дни, и ночи у ногъ Творца
Сжигая жертвой свои сердца
За тѣхъ, кто сверженъ мечомъ суровымъ,
Кто весь истерзанъ вѣнцомъ терновымъ,
Кто, раненъ въ сердце въ земномъ бою,
Для Бога душу закрылъ свою.

Подвигъ самопожертвованія, при міросозерцаніи г-жи Рудичъ, не могъ не вдохновить ее; и вотъ прекрасный плодъ такого вдохновенія:

Онъ шелъ впередъ, а на его пути
Она всѣ камни убирала,
Она сама свѣтильникомъ сгорала,
Чтобы смѣлѣй онъ могъ идти.
Осталось шагъ ступить—и онъ дойдетъ,
Но жизнь ея растопчетъ онъ, ступая,
И, сердце подъ ноги сама ему бросая,
Она кричитъ: «впередъ».

Одно изъ послѣднихъ стихотвореній милой книжки Вѣры Рудичъ посвящено грозѣ; гудятъ вершины деревьевъ, громъ грохочетъ;

Лѣсныя птицы больше пѣть не смѣютъ:
Не время пѣть среди нависшей мглы.
Онѣ молчатъ. А какъ свободно рѣютъ
Навстрѣчу бурѣ чайки и орлы!
Для мощныхъ крыльевъ міръ земной имъ тѣсенъ.
Но свой удѣлъ и малымъ соловьямъ:
Гроза пройдетъ, и надо будетъ пѣсенъ
Помолодѣвшимъ рощамъ и лѣсамъ.

И хочется причислить г-жу Рудичъ къ тѣмъ «малымъ соловьямъ», которыхъ истинно хорошихъ пѣсенъ намъ такъ надо!

Признавая «Новыя стихотворенія» г-жи Рудичъ вполнѣ заслуживающими одобренія Академіи, позволяю себѣ просить объ увѣнчаніи ихъ преміей или по крайней мѣрѣ почетнымъ отзывомъ.

К. Р.

Павловскъ, 2 Октября 1908 г.

IV.

Айхенвальдъ, Ю. И. „*Силуэты русскихъ писателей*“ *Выпуски I и II (Москва, 1908).*

Эстетическая критика главнѣйшихъ представителей русской литературы, появлявшаяся въ послѣдніе годы въ журналахъ: «Научное Слово» и «Русская Мысль», въ очеркахъ г. Ю. Айхенвальда, подъ заглавіемъ *Силуэты русскихъ писателей*, обратила на себя вниманіе многими блестящими сторонами. Это были очерки живые, увлекательные въ чтеніи, несомнѣнно искренніе и принадлежавшіе перу писателя образованнаго и утонченнаго цѣнителя литературы. Послѣ прочтенія иныхъ, наиболѣе удачныхъ очерковъ въ журналѣ, было естественно желать появленія ихъ въ одной книжкѣ. Авторъ пошелъ на встрѣчу этому желанію и даже болѣе того—нѣкоторые очерки онъ пересмотрѣлъ, другіе дополнилъ, а нѣкоторые настолько переработалъ, какъ, напримѣръ, главу о Пушкинѣ, что она составила особую книгу. И вотъ, въ результатѣ, получился сборникъ статей и большихъ эстетическихъ трактатовъ, къ которому прежде всего совершенно не идетъ заглавіе «силуэтовъ». Въ своихъ очеркахъ авторъ даетъ больше, чѣмъ обѣщаетъ это заглавіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ явно нарушаетъ свою задачу. Это нарушеніе затѣмъ ощущается читателемъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ вдумчивѣй становится критикъ и чѣмъ пространнѣй и доказательнѣе строитъ онъ свои характеристики. Какъ часто бываетъ, читатель не ощущаетъ особенной благодарности автору за его усилія быть полнѣе и убѣдительнѣе. Въ настоящемъ своемъ видѣ очерки представляютъ уже утомительное, по своему однообразію, безконечнымъ повтореніямъ и банальности излюбленныхъ пріемовъ, чтеніе. Здѣсь было бы не мѣсто входить въ разсужденіе о томъ, въ чемъ нуждается эстетическая критика русской литературы въ настоящее время; но,

мнѣ кажется, не лишнимъ по поводу настоящаго сочиненія было бы напомнить, что для новой русской литературы настало уже время исторической критики и что нынѣ болѣе чѣмъ странно ограничиваться, напримѣръ, эстетическою критикою при оцѣнкѣ Грибоѣдова, Крылова, Батюшкова и пр. и пр. Отсюда самый разборъ книгъ Айхенвальда не можетъ отрицать ихъ существеннаго недостатка, который коренится въ этомъ отсутствіи историческихъ характеристикъ нашихъ писателей. Съ другой стороны, эстетическая оцѣнка, на основаніи личныхъ вкусовъ и симпатій, принимается читателями обыкновенно лишь въ томъ случаѣ, когда критика ограничивается или однимъ излюбленнымъ писателемъ, или группою нѣсколькихъ, родственныхъ ему по его міросозерцанію. Общіе обзоры, основанные на личной эстетической точкѣ зрѣнія, встрѣчаются съ недовѣріемъ даже и тогда, когда критикъ овладѣлъ уже вниманіемъ литературы и пользуется общепризнаннымъ авторитетомъ. Помимо всего этого, эстетическая критика въ настоящее время сводится обычно къ общественной проповѣди философскаго свойства, съ тою лишь разницею противъ обыкновенныхъ проповѣдей, что все содержаніе берется изъ сочиненій извѣстнаго писателя. Сочиненія эти подвергаются переложенію на тотъ языкъ, какой найдетъ нужнымъ употреблять критикъ. Легко можно себѣ представить, что чѣмъ симпатичнѣе будетъ ему извѣстный писатель, тѣмъ нерѣдко бо́льшему искаженію будутъ подвергаться его сочиненія, которыя авторъ поневолѣ будетъ принимать какъ бы за свои собственныя, помѣщая въ нихъ свои собственныя мысли и даже болѣе того—свое міросозерцаніе. Г. Айхенвальдъ извѣстенъ, между прочимъ, какъ хорошій переводчикъ сочиненій Шопенгауера и въ свои переложенія не прочь вноситъ своего рода философскіе этюды по вопросамъ бытія.

Правда, въ своей характеристикѣ Пушкина, которая, какъ мы сказали, представляетъ цѣлую книжку, почти въ 200 страницъ, пересказъ произведеній Пушкина онъ называетъ «откликами», очевидно, воспроизводя при этомъ основную тему своего взгляда

на Пушкина, который, будто бы, характеризуется наилучше собственнымъ стихотвореніемъ «Эхо». Поэтъ есть эхо міра, послушное и пѣвучее эхо, которое несется изъ края въ край, чтобы страстно откликнуться на все, чтобъ не дать безслѣдно замереть ни одному достойному звуку вселенской жизни. Дѣйствительно, преклоненіе критика предъ чистымъ звукомъ поэтическаго эха, которымъ рисуется поэзія Пушкина, столь велико, что критикъ и въ своихъ пересказахъ, видимо, старается проникнуть внутрь этихъ произведеній и не позволяетъ себѣ отступленій даже отъ ихъ языка, не только отъ ихъ мысли. Для нашего критика въ произведеніяхъ Пушкина добро тождественно съ красотою, чувство добра дышетъ на всѣхъ страницахъ, онѣ представляютъ художественное оправданіе Творца. Эта поэзія есть отзывъ человѣка на созданія Бога; она есть послушаніе міру, глубокое законченное міросозерцаніе, отводящее каждому предмету его сокровенное значеніе и неизмѣнное мѣсто въ общемъ строѣ бытія. Такъ оцѣнивается авторомъ классическая ясность и невозмутимая простота произведеній Пушкина. Но въ то же время, если бы мы вошли въ разсмотрѣніе всѣхъ, данныхъ критикомъ изложеній и переложеній Пушкинскихъ поэмъ, то легко могли бы доказать, насколько самъ критикъ не является «эхомъ» Пушкинской поэзіи. Не буду говорить о подробностяхъ и остановлюсь только на одной поэмѣ — «Бахчисарайскомъ фонтанѣ». Въ этой роскошной поэмѣ, которую критикъ называетъ «драгоцѣнной восточной тканью», «пиромъ слова», «праздникомъ звуковъ», дѣйствительно, гармонія стиховъ содержитъ, какъ сказали бы мы сами, мелодическое выраженіе нашихъ представленій о востокѣ и прежде всего о томъ блаженномъ покоѣ, если не умиротворенія, которое европеецъ какъ бы ощущаетъ въ историческихъ развалинахъ востока. Не буду напоминать тѣхъ дивныхъ стиховъ Пушкина, въ которыхъ это наиболѣе ярко выражено; скажемъ кратко: одинъ русскій музыкантъ, перелагая извѣстную татарскую пѣсню поэмы на музыку, нашелъ даже крымско-татарскую мелодію, цѣликомъ подошедшую къ

мелодіи и смыслу стиховъ, особенно третьей строфы этой пѣсни, воспѣвающей нѣгу гарема (двѣ остальныя строфы представляютъ извѣстное оживленіе общей мелодіи религіознымъ и героическимъ порывомъ). И тѣмъ не менѣе, мы совершенно не согласны съ критикомъ, который въ поэмѣ видитъ: «дыханіе восточной нѣги и воплощеніе дыханія чувственности», которое воздвигло «въ Бахчисараѣ свой излюбленный дворецъ и свой грѣшный храмъ». Анализъ критика покоится на фальшивомъ преувеличеніи, которое, правда, началось не съ него. Оно началось съ легендъ, которыя Пушкинъ услыхалъ на мѣстѣ въ самомъ Бахчисараѣ, гдѣ, конечно, проводники рѣдкихъ посѣтителей дворца и тогда, какъ и теперь, сплетали легенды о Маріи Потоцкой передъ извѣстнымъ тюрбе и остатками ханскаго гарема. Гнѣздо кочевыхъ разбойниковъ, волею поэтической легенды, превратилось въ поэтическій уголокъ, дремлющій въ забвеніи, съ пустыми покоями и садами и съ безмолвными переходами. Для критика Бахчисарай сталъ излюбленнымъ дворцомъ и грѣшнымъ храмомъ чувственности. «Но въ эту обитель грѣха вошла святыня, чувственность въ разгарѣ своей оргіи встрѣтила духовное; магометанская луна столкнулась въ своемъ движеніи съ христіанскимъ крестомъ, — и эти двѣ силы, въ своемъ вѣковѣчномъ поведеніи создали трагедію, и новая кровь, новое преступленіе взволновали море человѣческихъ страстей. Гурія и Мадонна, двѣ стихіи, которыя трепетали въ сердцѣ Пушкина, нашли въ поэмѣ о фонтанѣ свое олицетвореніе и свое признаніе и обѣ онѣ показаны какъ двѣ неизбывныя, вѣчныя категоріи жизни, обѣ онѣ показаны въ своей различной красотѣ». Мы не пойдемъ дальше слѣдить за развитіемъ мысли критика. Совершенно ясно, что, пользуясь извѣстнымъ пріемомъ преувеличенія, можно не только довести до нелѣпости совершенно вѣрную мысль, но также исказить истинно поэтическій образъ. Какъ ужъ нынѣ извѣстно, порча одной изъ трубокъ водопровода въ Бахчисарайскомъ саду стала причиною того, что прежде шумѣвшій водою, ниспадавшею изъ одной чаши въ другую, фонтанъ, сталъ давать только капли и въ устахъ

поэта сталъ легендарнымъ фонтаномъ слезъ, образомъ безвинно погибшей чистой души христіанской плѣнницы. Но для этого достаточно было одного стиха Пушкина, тогда какъ всѣ страницы критика не въ силахъ открыть новый смыслъ въ поэмѣ Пушкина. Такимъ образомъ, хотя мы лично и признаемъ полезными усилія автора «силуэтовъ» оцѣнить и характеризовать достоинства Пушкина, задушевность его творческихъ образовъ, ихъ прекрасную реальность, простоту ихъ идеализаціи, «словесную прозрачность» его стиховъ и благородство могучаго русскаго языка, который онъ создалъ, не можемъ не пожалѣть, что всѣ эти достойныя похвалы стремленія выполнены недостаточно строго къ самому себѣ, къ своимъ мыслямъ и своему слогу. Языкъ Пушкина, восхваляемый критикомъ, какъ кристаллъ чистаго источника, долженъ былъ бы быть образцомъ и для его собственной книги.

Переходя затѣмъ къ другимъ очеркамъ, мы находимъ въ каждомъ изъ нихъ что либо интересное, много новаго, высказаннаго по поводу разныхъ писателей, но рядомъ въ то же время находимъ и повтореніе въ пространной формѣ давно избитыхъ эстетическихъ оцѣнокъ, только данныхъ въ новой формѣ и въ современномъ переложеніи. Въ разборахъ писателей Пушкинскаго періода рѣзко ощущается недостатокъ исторической критики. Всѣмъ очевидно, что нельзя обойтись безъ историческаго разбора, говоря о комедіи Грибоѣдова и разбирая Чацкаго только съ психологической точки зрѣнія и оцѣнивая житейскую мудрость басенъ Крылова съ точки зрѣнія идеальныхъ запросовъ современности. Прямо странно, съ одной стороны, встрѣчать на страницахъ критическаго сочиненія фразу, что лучшій и наиболѣе художественный образъ лисы созданъ Крыловымъ. Почти то же должно сказать съ исторической точки зрѣнія о характеристикахъ: Батюшкова, Рылѣева, Баратынскаго, Аксакова, Кольцова и друг. Съ другой стороны, авторъ «Силуэтовъ», не стѣсняясь, наполняетъ свои разборы всею шумихою современныхъ фразъ при всякомъ удобномъ поводѣ: «глухая тревога въ обществѣ»,

«царство молчанія», «колебаніе патріархальныхъ устоевъ», «ферментъ благодатныхъ волненій», «дымное отечество» и т. д.

Удачнѣе разборъ писателей Гоголевскаго и особенно новѣйшаго періода, хотя не безъ крупныхъ недостатковъ, происходящихъ отъ той же привычки обобщать литературное явленіе при первой представившейся возможности. Такъ, Гончаровъ въ глазахъ критика является жанристомъ, писателемъ фламандской школы; онъ рисуетъ художественно типы простые и элементарные, тогда какъ при рисовкѣ типовъ сложныхъ принужденъ ограничиваться общими разсужденіями. Такого рода характеристики нельзя, собственно говоря, называть парадоксальными, такъ какъ въ нихъ несомнѣнно дается черта, подмѣченная въ произведеніяхъ писателя, но въ то же время онѣ даютъ нерѣдко искаженный образъ писателя, или, по малой мѣрѣ, односторонне представленный. Гончаровъ уже потому самому не можетъ быть опредѣляемъ какъ жанристъ, что онъ является въ средѣ русскихъ писателей какъ бы наименѣе содержательнымъ и въ то же время наиболѣе отдѣланнымъ, какъ говорится, въ своихъ произведеніяхъ. Любопытная характеристика Алексѣя Толстого, какъ «отраженнаго», «книжнаго таланта», автора «археологической бутафоріи», страдаетъ явнымъ незнаніемъ романтизма, его формъ и содержанія. Большою тонкостью отличается критическая характеристика Тургенева, но она ошибочна въ выводахъ: современная «старомодность» этого писателя, утрата имъ прежняго «благоуханія», его «уходъ въ прошлое» могутъ считаться тоже явленіемъ преходящимъ, какъ и прежнее увлеченіе имъ, заставлявшее большую публику забывать или мало цѣнить Льва Толстого. Далѣе извѣстныя стороны «сочинительства» Тургенева, старыя манеры его «беллетристики», какъ и обратно, его неудачныя попытки отозваться на гражданскіе мотивы, — все это подлежитъ оцѣнкѣ историко-литературной, не эстетической. Иное дѣло, наконецъ, когда критикъ «Силуетовъ» упрекаетъ Тургенева въ томъ, что онъ, будто бы изучилъ науки страсти нѣжной и находитъ, что онъ могъ бы выступить прямо «рус-

скимъ Боккаччіо», это примѣръ того, куда ведетъ современная скоропись. Заслуживаетъ, хотя краткаго указанія,—отрицательная въ эстетическомъ отношеніи оцѣнка соціально-художественной натуры Короленки и даже читается одна превосходная страница о томъ: что такое писатель-художникъ: «Каждый писатель—особая страна, и по странѣ великаго писателя вы идете, идете и не видать ей конца краю и вы даже не представляете себѣ, что здѣсь могутъ быть границы. Въ маленькихъ же странахъ, гдѣ царитъ художественная ограниченность или элементарность, вамъ сразу бросаются въ глаза предѣльныя линіи тѣснаго горизонта».

Послѣ всѣхъ заявленныхъ критикомъ высокихъ эстетическихъ требованій тѣмъ болѣе странно въ характеристикѣ Чехова встрѣтить повтореніе публицистическаго шума, поднятаго русскими газетами и журналами по случаю смерти этого писателя. Здѣсь крайне ненатуральное натужное краснорѣчіе критика вращается среди разнообразныхъ соціалистическихъ формулъ, которыми уснастили уже русскіе публицисты художественное творчество покойнаго писателя. Нельзя не сказать объ этомъ, такъ какъ настоящій случай наиболѣе ярко рисуетъ всю фальшь нашей публицистической критики; человѣкъ и писатель, наиболѣе жизнерадостный въ нашей новѣйшей литературѣ, наименѣе склонный къ пессимизму, не смотря на болѣзнь, никогда не поддававшійся меланхоліи, хотя сочетавшій въ своемъ талантѣ и печаль и юморъ, принесшій въ литературу съ собою нѣчто совершенно новое,—оказался совершенно фальшивой фигурой публицистическаго нытика, который, однако же, продолжаетъ художественно радовать всѣхъ читателей.

Академикъ **Н. П. Кондаковъ.**

V.

Отзывъ о произведеніяхъ г-жи **Волковичъ-Вель**, *представленныхъ на XVIII соисканіе премій имени А. С. Пушкина.*

Исполняя порученіе Разряда, имѣю честь представить нижеслѣдующій отзывъ о произведеніяхъ г-жи Волковичъ-Вель, представленныхъ на XVIII-ое соисканіе премій имени А. С. Пушкина.

Разсказы и очерки г-жи Волковичъ-Вель производятъ весьма выгодное впечатлѣніе вдумчивостью, серьезностью замысла, простотою изложенія, отсутствіемъ манерности и вычурности. Авторъ—художникъ-моралистъ, отчасти даже и публицистъ. Его художническое вниманіе направлено на темныя стороны души человѣческой, на отрицательныя явленія жизни. Но онъ не ограничивается изображеніемъ ихъ,—онъ старается найти точку опоры для борьбы съ ними и находитъ ее—въ нравственномъ чувствѣ, въ голосѣ совѣсти, который рано или поздно заговоритъ. На этотъ-то пунктъ по преимуществу и направлены наблюденія и размышленія автора. Его глубоко интересуетъ психологія таинственнаго явленія, называемаго *совѣстью*. Онъ изучаетъ и цѣнитъ не только правильную, нормальную дѣятельность совѣсти, но и неправильную, импульсивную, неразумную ея дѣятельность, обусловленную темнотою, нравственнымъ недоразвитіемъ человѣка, дѣйствіемъ страстей или аффектовъ.

Вотъ именно лучшій изъ представленныхъ разсказовъ г-жи Волковичъ, озаглавленный (мнѣ кажется, неудачно) „*Бога ищутъ*“, и воспроизводитъ типичный случай анормальнаго, импульсивнаго (я сказалъ бы: аморальнаго) дѣйствія аппарата совѣсти. Нѣкая крестьянка Марѳа, женщина лѣтъ за 40, вмѣстѣ со своимъ любовникомъ, молодымъ парнемъ, лѣтъ на 15 моложе ея, убила своего мужа. Это преступленіе представлялось зага-

дочнымъ, необъяснимымъ по безцѣльности, по отсутствію мотива. Дѣло въ томъ, что мужъ, человѣкъ безвольный и придурковатый, давно примирился съ свою участью, никакого протеста не предъявлялъ и не мѣшалъ безпечальному сожитію жены съ любовникомъ. Послѣдній (Тимоха) водворился въ его избѣ и распоряжается тамъ, какъ будто онъ и есть законный глава семьи и настоящій хозяинъ. Предположеніе, что Марѳа и Тимоха убили мужа съ цѣлью сочетаться законнымъ бракомъ, было опровергнуто свидѣтельскими показаніями: «Марѳа никогда бы не вышла замужъ за Тимоху»,—«такой ужъ у нея ндравъ»,—она держалась того взгляда, что любимаго человѣка только и можно привязать къ себѣ и держать въ рукахъ, пока онъ не является законнымъ мужемъ и главою семьи. Въ концѣ концовъ выясняется, что «Марѳа убила своего мужа,—*чтобы грѣхъ съ души снять...*»— Живя съ любовникомъ при живомъ мужѣ, она не переставала чувствовать, что это — непристойно, грѣшно; голосъ совѣсти раздавался все громче и настойчивѣе. То-же самое чувствовалъ и любовникъ. И вотъ наконецъ не въ моготу имъ стало,—и они съ легкимъ сердцемъ убили мужа, который все равно страдалъ, хотя и не выражалъ своихъ страданій, и который отравлялъ ихъ жизнь нѣмымъ укоромъ, безотвѣтной покорностью судьбѣ, однимъ—голымъ—фактомъ своего существованія. На томъ свѣтѣ ему будетъ лучше: «молиться за него станемъ и сорокоустъ справимъ...» — И они убили его съ *чистой совѣстью* и заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ,—и нѣтъ у нихъ сознанія, что этимъ жестокимъ дѣломъ они къ одному грѣху присоединили еще другой, болѣе тяжкій. Марѳа не только не раскаивается, но даже съ нескрываемымъ презрѣніемъ относится къ тѣмъ, кто не въ состояніи понять ея «правоты и геройства». Указывая на эту нераскаянность, судебный слѣдователь заключаетъ такъ «... по своему она права; она отъ грѣха шла... Она творитъ звѣрское и ужасное правды ради. Она мнитъ себя героиней и смотритъ на насъ сверху внизъ...» — Къ сожалѣнію, авторъ не рѣшаетъ (и даже не ставитъ) весьма естественныхъ вопросовъ: имѣетъ-

ли Марѳа нравственное право мнить себя героиней и смотрѣть на насъ сверху внизъ? Какая цѣна той «правдѣ», ради которой нужно творить «звѣрское и ужасное»? Не напоминаетъ ли совѣсть Марѳы совѣсть дикаря? И не лучше ли было бы, если-бы эта Марѳа была немножко безсовѣстнѣе?

И мы невольно вспоминаемъ здѣсь ту страшную боль оскорбленнаго нравственнаго чувства и тотъ моральный ужасъ, какіе переживалъ Глѣбъ Успенскій, когда ему приходилось раскрывать варварство крестьянской этики.

Разсказъ «Бога ищутъ», очень небольшой по объему, очень содержателенъ; въ немъ данъ своего рода «человѣческій документъ» — въ точномъ и живомъ воспроизведеніи, которому нельзя отказать въ художественности, и въ то же время очерчена важная психологическая и моральная задача, для постановки которой содержаніе разсказа даетъ цѣнный матеріалъ.

Въ другомъ разсказѣ—«Деньги-свѣтъ!»—авторъ, нѣсколько растянуто и не безъ надуманности, раскрываетъ процессъ пробужденія совѣсти и добрыхъ чувствъ въ черствой душѣ эгоиста, скупца, ростовщика — помѣщика Брянцева. Обращеніе на путь добра и человѣческой любви мотивировано здѣсь неизлѣчимою болѣзнью (параличъ) и вліяніемъ доброй, самоотверженной женской души. Въ разсказѣ есть нѣсколько психологически-тонкихъ штриховъ, есть мѣткія моральныя наблюденія, художественно воспроизведенныя, но въ общемъ онъ производитъ впечатлѣніе искусственнаго беллетристическаго построенія. Авторъ задалъ себѣ задачу—сопоставить двѣ натуры: черствую, казалось-бы, безнадежно-эгоистическую натуру дѣльца и скопидома (и при томъ развратника) и честную, безкорыстную, любвеобильную натуру женщины, которая всю жизнь прожила у чужихъ людей въ роли экономки и привыкла беречь чужую копейку и заботиться о другихъ, забывая о себѣ. Надо отдать справедливость автору: оба характера очерчены живо и опредѣлительно, и ихъ психологію можно признать — въ общемъ — достаточно выдержанною. Героиню (Марью Ильиничну) было, конечно, труднѣе изобра-

зить, чѣмъ героя (Брянцева). Но автору удалось напомнить читателю объ этомъ типѣ, представители котораго встрѣчаются нерѣдко, — типѣ кроткихъ, безобидныхъ, пассивно-добрыхъ существъ, довольствующихся малымъ, покорно и благодушно тянущихъ лямку трудовой и горькой жизни и умудряющихся уживаться съ людьми, которые, казалось бы, должны внушать имъ непреодолимое отвращеніе. Марья Ильинишна была экономкою въ имѣніи, которое купилъ Брянцевъ, и перешла къ нему, какъ вещь, вмѣстѣ съ этимъ имѣніемъ, а потомъ сдѣлалась его любовницей. Это сожитіе представляется читателю отвратительнымъ, психологически противоестественнымъ, но мы знаемъ, что это бываетъ сплошь и рядомъ. — Марья Ильинишна идеализирована, но мы не предъявили бы автору упрека въ предвзятости и тенденціозности, если-бы Марья Ильинишна не была — въ послѣднихъ главахъ — возведена на нѣкій пьедесталъ: она здѣсь является носительницею какой-то высшей — народной и въ то же время христіанской — нравственной правды. Когда Брянцевъ подъ вліяніемъ старости и болѣзни, такъ сказать, размякъ душой, тогда онъ впервые почувствовалъ цѣну доброты и безкорыстной преданности старой экономки — и невольно подчинился ея облагораживающему воздѣйствію. Онъ самъ не замѣтилъ, какъ вдругъ пришла ему въ голову великодушная мысль построить церковь; онъ самъ не замѣтилъ, какъ онъ пересталъ быть скрягой, какъ деньги потеряли власть надъ нимъ, и какъ легко стало ему отдать все свое богатство народу. Онъ самъ не замѣтилъ этого, но мы-то, читатели, хорошо замѣтили, что авторъ къ этому-то и велъ; замѣтили мы, какъ онъ старается убѣдить насъ въ психологической возможности такого «обращенія». Этой возможности мы не отвергаемъ (чего ни бываетъ на свѣтѣ!), но авторъ не убѣдилъ насъ въ психологической закономѣрности столь полнаго и рѣзкаго измѣненія всей личности Брянцева, какъ равно и въ томъ, что это перерожденіе совершилось натурально, само собою, безъ особливаго попущенія и прямого содѣйствія со стороны автора.

Еще больше «беллетристической» намѣренности и искусственности въ повѣсти «*Тайна*», гдѣ разсказана исторія паденія и преступленія (убійство незаконнаго ребенка) одной деревенской дѣвушки, которая, сознавъ свой грѣхъ, всю остальную жизнь посвящаетъ обѣту искупительной любви: радѣть о бѣдныхъ дѣтяхъ, кормить ихъ, присматривать за ними, воспитывать ихъ. Повѣсть написана въ формѣ признаній героини, уже старухи. Тонъ ея рѣчей въ общемъ можно признать выдержаннымъ. Но читатель слѣдитъ за эпическимъ разсказомъ старухи безъ захватывающаго интереса, съ досаднымъ чувствомъ нетерпѣнія, которое вызывается длиннотами и лишними подробностями.

Разсказъ или очеркъ «Вѣрь» иллюстрируетъ мысль, что людямъ нужно вѣрить, т. е. въ отношеніяхъ съ ними, въ сужденіяхъ о нихъ руководиться увѣренностью, что, какъ-бы человѣкъ ни былъ черствъ, золъ, испорченъ и т. д., въ его душѣ есть искра Божья, есть голосъ совѣсти, — и раньше или позже доброе начало, заложенное въ человѣческой душѣ, такъ или иначе скажется. Эту идею авторъ «проводитъ» устами старика Евсея Селивестрыча, сельскаго дьячка, который пользуется въ селѣ общимъ уваженіемъ; онъ является выразителемъ общественной совѣсти и, по словамъ купца Капитона Степановича, знаетъ «завороженное слово», т. е. умѣетъ ободрить, утѣшить, образумить, наставить на путь истины. Но старикъ страдаетъ запоемъ, и когда запиваетъ, — то сразу превращается изъ исповѣдника душъ въ шута, надъ которымъ всѣ издѣваются. Фигуры дьячка и купца, выступающія въ очеркѣ на первый планъ, а равно и другія лица, о которыхъ упоминается (богатая старуха Матрена, окончившая самоубійствомъ, послѣ того какъ заморила непосильною работою свою служанку Дашу), не производятъ цѣльнаго впечатлѣнія. Все это лишь силуэты, набросанные для иллюстраціи основной мысли. При небольшомъ объемѣ, разсказъ читается легко, — но глубокаго слѣда не оставляетъ, на что, однако, авторъ, повидимому, разсчитывалъ.

«Анчаръ», самое большое по объему изъ извѣстныхъ мнѣ

произведеній г-жи Волковичъ-Вель, нельзя признать самымъ удачнымъ. Здѣсь художникъ—психологъ еще больше, чѣмъ въ другихъ вещахъ, заслоненъ искуснымъ беллетристомъ, пишущимъ на данную тему и заранѣе знающимъ рѣшеніе задачи. Разсказъ ведется въ формѣ писемъ гимназиста къ другу дѣтства, вмѣстѣ съ которымъ онъ воспитывался въ провинціальномъ городкѣ, у тетки, вдали отъ семьи. Теперь родители взяли его къ себѣ, въ Петербургъ. Юноша, восторженно любящій свою мать, которую онъ едва помнилъ, чувствуетъ себя въ семьѣ и въ столицѣ—чужимъ и одинокимъ. Мать, свѣтская львица и красавица, довольно равнодушна къ сыну. Отецъ, подозрѣвающій, что это—не его сынъ, относится къ нему съ едва скрываемою враждебностью. Мальчика опредѣлили въ частное привиллегированное учебное заведеніе, гдѣ все ему не по душѣ. Онъ скучаетъ по уютной и простой жизни въ глуши, по доброй и умной тетушкѣ, по товарищу—другу дѣтства. Смущаютъ его нравы, какіе онъ наблюдаетъ въ столицѣ, въ школѣ и въ своей семьѣ. Его шокируютъ нескромные разговоры, цинизмъ, прикрытый свѣтскимъ лоскомъ, развращенность прислуги, даже картинки въ витринахъ магазиновъ, изображающія голыхъ женщинъ. Его возмущаетъ пошлость окружающей жизни. Чистый, нетронутый юноша, онъ боится и соблазновъ и пошлости, какъ-бы предвидя, что раньше или позже они его затянутъ въ омутъ. Такъ это и вышло. Молодой человѣкъ опустился, загрязнился, даже «палъ». Эпизодъ съ молоденькой судомойкой, которую, конечно, выгоняютъ вонъ, когда она забеременѣла, глубоко потрясаетъ юношу. Онъ считаетъ себя грѣшникомъ и преступникомъ, мучится и—описываетъ всю исторію съ тѣмъ мелодраматизмомъ, который я не рѣшаюсь поставить въ упрекъ автору, помятуя, что это пишетъ гимназистъ и что это—«натуральный» мелодраматизмъ жизни.—И такъ, юноша втянулся въ омутъ, но укоры совѣсти не умолкаютъ въ его душѣ, и онъ не перестаетъ ощущать что-то въ родѣ ностальгіи: его тянетъ въ глушь, въ родной городъ, къ доброй, умной тетушкѣ, къ простой, здоровой, чистой жизни;

привлекаютъ его также и тѣ люди, которые трудятся, живутъ бѣдно, но честно, разумно; одну такую семью онъ случайно встрѣтилъ и восторженно отзывается о ней въ своихъ письмахъ. Завидуетъ онъ и своему другу, теперь уже студенту Московскаго университета; товарищъ его дѣтства живетъ полною, здоровою жизнью, работаетъ, учится; будущее передъ нимъ открыто...

Все это изображено въ письмахъ юноши довольно — удачно; молодой человѣкъ умѣло и правдоподобно раскрываетъ свой внутренній міръ и въ общемъ вполнѣ удовлетворительно развиваетъ тенденцію, положенную авторомъ въ основаніе повѣсти. Но, думается, было-бы лучше, если-бы иной разъ онъ забылъ объ этой тенденціи и что-нибудь перепуталъ въ заученной роли. Къ сожалѣнію, юноша хорошо вызубрилъ роль и нигдѣ не «подводитъ» автора... Все идетъ гладко, идея развивается послѣдовательно, одна иллюстрація смѣняется другой (тутъ и развратный, наглый лакей, и добрая по натурѣ, но совершенно испорченная, дошедшая до откровеннаго цинизма свѣтская барышня), — и авторъ благополучно приходитъ къ моральному итогу, заранѣе готовому. Юноша, не выдержавъ противорѣчій и внутренней борьбы, заболѣваетъ. Во время болѣзни отецъ, повидимому, убѣдившись въ томъ, что это — его сынъ, раскаивается въ своей холодности къ нему. Въ душѣ отца неожиданно пробуждается пламенная любовь къ сыну, и онъ ухаживаетъ за больнымъ съ самоотверженіемъ сестры милосердія. Юноша въ свою очередь обнаруживаетъ горячую сыновнюю любовь и — умираетъ, примиренный съ отцомъ, между тѣмъ какъ мать остается гдѣ-то заграницей, на модномъ курортѣ...

Повѣсть растянута, но читается легко, и эта легкость чтенія оставляетъ въ читателѣ странное впечатлѣніе какого-то досаднаго контраста съ серьезностью замысла: вышло чисто-литературное рѣшеніе задачи, не дающее читателю повода остановиться и задуматься, — все предусмотрѣно и рѣшено авторомъ. Лишь тамъ и сямъ попадаются отдѣльные художественные штрихи,

вызывающіе читателя на самостоятельное раздумье, но они какъ-то затериваются и пропадаютъ...

Мнѣ остается упомянуть о фельетонѣ „*Но то былъ сонъ*“, о „*Фантазіи*“ „*Красная Горка*“ и объ очеркѣ изъ путешествія „*Изъ Бѣлостока въ Осовецъ и Щучинъ*“.

Фельетонъ (изъ «Новаго Врем.») представляетъ собою публицистическую статью въ беллетристической формѣ — на тему объ ужасающемъ истребленіи—въ деревняхъ— внѣбрачныхъ дѣтей. Тутъ-же—въ видѣ сна—предложено и мѣропріятіе: устройство колоній для брошенныхъ дѣтей, откуда они выходятъ здоровыми работниками съ обязательствомъ 3 года «послужить землѣ». Авторъ такъ и называетъ ихъ «землеобязанными». — Но въ этомъ маленькомъ очеркѣ есть нѣчто художественно-цѣнное, напоминающее то, что̀ мы отмѣтили въ первомъ разсказѣ («Бога ищутъ»): это — живое воспроизведеніе своеобразныхъ чертъ простонародной этики. Служанка Саша, которая моритъ своихъ внѣбрачныхъ дѣтей голодомъ и совершенно не сознаетъ и не чувствуетъ преступности и ужаса содѣяннаго ею, оставаясь при этомъ доброй и честной женщиной, изображена просто и правдиво. Здѣсь, какъ и въ разсказѣ «Бога ищутъ», автору удалось достигнуть того «сгущенія мысли въ образѣ», которое есть вѣрный признакъ настоящаго художественнаго дарованія.

«Фантазія» «Красная горка» и «Очеркъ» «Изъ Бѣлостока въ Осовецъ и Щучинъ» не могутъ быть отнесены къ художественнымъ произведеніямъ въ собственномъ смыслѣ.

Общее мое заключеніе о талантѣ г-жи Волковичъ-Вель сводится къ слѣдующему: у нея есть несомнѣнная художественная одаренность, но болѣе яркому обнаруженію этой одаренности мѣшаетъ соблазнъ болѣе легкаго, беллетристическаго, чисто-литературнаго рѣшенія моральныхъ задачъ; этимъ задачамъ нельзя отказать въ серьезности и значительности, и авторъ умѣетъ ихъ ставить.

Почет. акад. **Д. Овсянико-Куликовскій.**

VI.

„Наши дѣды-купцы". Бытовыя картины начала XIX столѣтія. Г. Т. Полилова-Сѣверцева.

Настоящая книга заслуживаетъ вниманія какъ по содержанію, такъ и по обработкѣ заключающагося въ ней матеріала. Это кусокъ бытовой исторіи нашего торговаго сословія въ Петербургѣ и Рыбинскѣ, выхваченный прямо изъ жизни, богатый фактическими данными и яркими красками и облеченный въ свободную и легкую литературную форму. Семейная хроника, этнографическія свѣдѣнія, статистическіе выводы, народныя повѣрья, пословицы и примѣты, историческія событія и оригинальныя стороны общественной и частной жизни перваго тридцатилѣтія XIX вѣка въ столицѣ Россіи искусно и правдиво переплетены между собою авторомъ и рельефно, въ цѣльныхъ образахъ и картинахъ, выступаютъ передъ читателемъ. Описывая старые годы въ формѣ бытовыхъ очерковъ и разсказовъ, авторъ умѣлъ избѣжать двухъ крайностей, которыя встрѣчаются обыкновенно въ произведеніяхъ этого рода: описываемые имъ люди не только носятъ платье и живутъ въ обстановкѣ старыхъ годовъ, но мыслятъ и отзываются на окружающее именно какъ люди старыхъ годовъ, а не какъ наши переряженные въ старые костюмы современники; — съ другой стороны въ нихъ не подчеркивается усиленно и тенденціозно ихъ духовная и умственная отсталость отъ послѣдняго слова современности, и въ уста имъ не вкладывается поддѣльная и неестественная рѣчь, заимствованная изъ старыхъ романовъ или оффиціальныхъ актовъ. «Наши дѣды купцы»—живые люди, гармонически сливающіеся со свѣтлыми и темными сторонами своего времени. Авторъ рисуетъ намъ тѣ обычаи, на которыхъ въ значительной мѣрѣ покоилась тогдашняя торговля, — то довѣріе, которое

существовало между купцами, когда большія сдѣлки совершались на слово и въ отношеніяхъ къ повѣреннымъ и приказчикамъ главную роль играло довѣріе, а не размѣръ жалованія, но когда вмѣстѣ съ тѣмъ жило опасеніе имѣть для веденія книгъ бухгалтеровъ и суевѣрная боязнь страхованія товаровъ, которое считалось искушеніемъ Божьяго промысла и желаніемъ укрыться отъ Его воли. Въ живыхъ очеркахъ проходятъ передъ нами на страницахъ книги нравы купечества того времени, слегка подернутые внѣшнимъ лоскомъ отъ соприкосновенія съ западной культурой въ лицѣ иностранныхъ коммерсантовъ—преимущественно англичанъ. Тутъ и развлеченія въ соревнованіи своими иноходцами, въ кулачныхъ бояхъ и стравливаніи гусей; тутъ и страстное увлеченіе голубями-турманами, доводящее до разорительныхъ судебныхъ тяжбъ; тутъ и то отрицаніе права личности въ дѣтяхъ, которое по отношенію къ москвичамъ такъ ярко выставлено въ рядѣ комедій Островскаго. Невесело въ такомъ купеческомъ домѣ: за столомъ не смѣетъ никто изъ дѣтей не только разговаривать, но даже звякнуть ложкой. Французская грамматика, замѣченная въ рукахъ дочери, влечетъ прекращеніе занятій французскимъ языкомъ, потому что послѣдней не слѣдуетъ знать больше того, что знаетъ ея отецъ. Тяжелымъ и утомительнымъ церковнымъ бдѣніямъ первой недѣли поста предшествуетъ непрерывное истребленіе блиновъ, приводящее къ болѣзненному пресыщенію и отвращенію. Томительное теченіе существованія, въ которое то тутъ, то тамъ просачиваются живыя струйки жизни, нарушается болѣзнями, для которыхъ лучшимъ лѣкаремъ является монахъ о. Ааронъ, умѣющій пріостанавливать развитіе паралича пусканіемъ крови изъ-подъ языка, — и сватовствами при посредствѣ свахъ и участія въ традиціонной выставкѣ невѣстъ въ Духовъ день въ Лѣтнемъ саду, при чемъ личныя чувства едва достигшей брачнаго совершеннолѣтія дѣвушки вмѣняются въ ничто предъ соображеніемъ, что «пора дѣвкѣ замужъ». Проходятъ предъ читателемъ и политическія событія того времени и взгляды на нихъ обывателя. Таковы, напримѣръ,

записи въ дневникѣ одного изъ нихъ: «Сказываютъ, что въ С.-Петербургѣ много развелось масоновъ, и они вредъ наносятъ, почему предвидятъ непріятность для нихъ». Или: «Въ сей памятный для столицы Россійской Имперіи день (14 декабря) присягали Императору Николаю; разговоры идутъ разные, но говорить опасливо. Палили у Сената изъ пушекъ, перебили немало народу, толкуютъ разно». Или, наконецъ: «Сватъ Купріянъ Зиновьевичъ ѣздилъ въ первый же день, какъ была открыта паровая машина или какъ ее называютъ желѣзная дорога до Царскаго Села. Забрался на паровозъ, далъ денегъ человѣку при машинѣ поставленному, а онъ пустилъ ее во всю. Слава Богу, благополучно обошлось, а ѣхали весьма скоро, и народъ перепуганъ былъ». Проходитъ также и самый городъ Петербургъ въ его послѣдовательномъ расширеніи съ начала XIX столѣтія до сороковыхъ годовъ. Среди картинъ житейской прозы мелькаютъ трогательные или грустно-поэтическіе образы. Такова, напримѣръ, сцена у стараго купца, доведеннаго до болѣзни павшимъ на него подозрѣніемъ въ нечестности, къ которому пришли заявить о своей ошибкѣ англійскіе негоціанты столицы, при чемъ старшій изъ нихъ становится на колѣни и отъ имени всѣхъ проситъ прощенія у «честнаго человѣка». Такова картина гроба молодой, безвременно умершей матери, который качаютъ маленькія, оставленныя безъ призора дѣти, думая, что это большая люлька. Лучшею частью книги слѣдуетъ признать дневникъ купеческой дѣвушки, чрезвычайно богатый бытовыми чертами и написанный въ строго выдержанномъ тонѣ, обличающемъ въ авторѣ большую способность къ тому, что Тэнъ называлъ *ретроспективной интуиціей*. Дневникъ этотъ цѣликомъ переноситъ въ то время и даетъ полную картину семейной жизни въ петербургскомъ купеческомъ домѣ первой четверти прошлаго вѣка. Трагическая картина загубленной обычаями и традиціями молодой жизни развертывается съ такой житейской правдой и простотой, съ такой массой характерныхъ мелочныхъ подробностей, съ такою смѣной покорности родительской волѣ и порывовъ от-

чаянія, съ такою душевной подавленностью и вспышками молодыхъ надеждъ и задора, что хочется думать, что перелистываешь подлинныя выцвѣтшія строки на пожелтѣлыхъ страницахъ настоящаго дневника. Весьма полное описаніе стараго Рыбинска («Колыбель хлѣбной торговли») сопровождается чрезвычайно интереснымъ историческимъ отрывкомъ изъ Московской хроники, касающимся положенія Воспитательнаго дома въ Москвѣ во время нашествія и пребыванія въ ней французовъ въ 1812 году.

Вся книга, за исключеніемъ двухъ-трехъ маленькихъ погрѣшностей, написана прекраснымъ русскимъ языкомъ, чуждымъ модныхъ кривляній и бездарной изобрѣтательности. Она проникнута благороднымъ настроеніемъ и тихой грустью предъ хорошими сторонами прошлаго безъ слѣпого поклоненія ему даже и въ его недостаткахъ — и производитъ впечатлѣніе серьезнаго и выполненнаго съ любовью труда.

На основаніи изложеннаго я считалъ бы справедливымъ удостоить вышеназванное сочиненіе Сѣверцева-Полилова почетнымъ отзывомъ отъ Императорской Академіи Наукъ.

Почетный Академикъ **А. Кони.**

Февраля 15 дня 1909 г.

VII.

„Эринніи“, античная трагедія (въ стихахъ) Леконта де-Лиля, „Северо Торелли“, драма въ 5-ти дѣйствіяхъ (въ стихахъ) Франсуа Коппе, — переводы; „Осенніе вихри“, стихи. **О. Н. Чюминой.**

Г-жа Чюмина въ настоящее время является у насъ одной изъ лучшихъ переводчицъ въ стихахъ произведеній иностранныхъ писателей. Качества ея переводовъ были неоднократно

оцѣнены и Академіей Наукъ, такъ что врядъ ли представляется надобность подвергать ихъ подробному анализу. Владѣя изящнымъ стихомъ и правильной конструкціей фразы, съ большой легкостью подбирая риѳмы и сообщая стиху звучность и плавность музыкальной рѣчи, г-жа Чюмина въ большинствѣ случаевъ довольно близко придерживается и текста оригинала, передавая въ общемъ вполнѣ правильно его смыслъ, но неоднократно отступая отъ текстуальной передачи, вѣроятно, въ силу невозможности ея сохранить въ стихотворныхъ переводахъ. Больше отступленій замѣтно въ переводѣ Леконта де-Лиля, точнѣе передача произведенія Франсуа Коппе. Это стоитъ въ связи съ различіемъ поэтической техники того и другого автора, при чемъ необыкновенно сжатый и красочный стиль Леконта де-Лиля почти не поддается дословной передачѣ, при необходимости сообразоваться также съ условіями русскаго стихосложенія. Въ виду этого, въ общемъ, переводъ получается лишь приблизительный: смыслъ вѣрно переданъ, но оттѣнками стиля пришлось пожертвовать. Отступленія, правда, незначительны. Кое-гдѣ пропущены фразы, эпитеты выпущены или замѣнены другими, сглажены блестки индивидуальнаго стиля французскаго поэта, который въ русской передачѣ тусклѣе и банальнѣе. Вотъ нѣсколько примѣровъ:

I,I les rois des nefs *éperonnées*	Цари на корабляхъ отплыли быстробѣжныхъ
Les hommes *chevelus* de l'héroïque Hellas:	А съ ними — воинства Эллады *лучшій цвѣтъ*
Cent mille avirons battaient le *flot sonore:*	Пучину *темную* собою разсѣкая
Que de bouches *mordant la terre où le sang fume,*	. . . . . смертью искаженныхъ
Que d'étalons *machant une suprême écume.*	Какъ много блѣдныхъ устъ, окровавленныхъ лицъ
Quelles *cuisses de boeufs lourdes de double graisse*	жертвоприношенія

J'entends...

... les mères hurler d'horreur, quand les *berceaux*	И матери въ отчаяньи своемъ
Du haut des toits fumants écrasés sur les pierres,	Тамъ видѣли безумными очами
Trempent d'un sang plus frais les sandales guerrières.	Грудныхъ дѣтей, раздавленныхъ конями...

Въ переводѣ выраженія огульнѣе, общѣе; нѣтъ яркости конкретной обрисовки образовъ подъ кистью Леконта де-Лиля. Можетъ быть дословная передача всѣхъ этихъ деталей почти не выполнима въ стихотворномъ переводѣ, но текстъ все-таки ослабленъ. Можетъ быть, по русски трудно подобрать выраженія, отвѣчающія вполнѣ тексту оригинала, но переводя, напримѣръ— la mâchoire du feu — просто: огонь, la vengeance embusquée— кара жестокая, cette louve traquée — просто: убійца, elle est chaude de haine — ненависть сильна въ ея душѣ, elle sent venir les heures éternelles — урочный часъ насталъ, и т. п., переводчикъ долженъ былъ поступиться многими оттѣнками стиля автора. Когда въ русскомъ переводѣ Агамемнонъ, уклоняясь отъ почестей (притворныхъ), съ которыми встрѣчаетъ его жена, заявляетъ: «какъ смертный, во дворецъ отцовскій я войду» — это не вполнѣ отвѣчаетъ тексту оригинала: «Je veux être honoré... non comme un roi barbare enflé d'orgueil, mais tel qu'un homme». Замѣчаніе Ореста сестрѣ: «Электра, дорогая... *Повѣрь себѣ* и радости слезамъ, что нынѣ лью»—нѣсколько неясно, тогда какъ въ оригиналѣ сказано: qu'il n'y ait dans ton sein ni tremblement, ni doute: Reconnais moi, je suis ton frère» и т. д. Излишнимъ шаржемъ звучитъ по русски возгласъ Ореста: «Мнѣ кажется— *въ теченіе вѣковъ я долгихъ жилъ*, а дней моихъ немного», въ оригиналѣ: «Et j'ai cent ans, n'ayant vécu que peu de jours».

Прочитывая параллельно переводъ и оригиналъ, наталкиваешься лишь на такія, не особенно существенныя для пониманія смысла оригинала замѣны, пропуски или отступленія, а

въ остальномъ приходится лишь цѣнить несомнѣнныя качества перевода, о которыхъ сказано выше.

Переводъ драмы Франсуа Коппе почти не вызываетъ никакихъ замѣчаній. Русскій текстъ передаетъ почти слово за словомъ французскій оригиналъ, словно самъ собою укладываясь въ стихотворную форму. Вотъ, напримѣръ, монологъ Севера, въ третьемъ актѣ, явленіе II:

Je suis son fils!... La nuit entière s'est passée...	Я — сынъ его. И ночь прошла и цѣлый день,
Puis un jour, et je vis avec cette pensée...	А съ мыслью этою брожу я, словно тѣнь.
Cherchant les lieux déserts, comme si mon affront	Уединенными, пустынными мѣстами,
Etait en traits de feu, lisible sur mon front,	Какъ будто на челѣ кровавыми чертами
J'erre, je vais... Voilà des heures que je marche...	Позоръ мой вырѣзанъ. Подъ аркою моста
Hier au soir, je me suis accroupi sous une arche	Вчера я ночевалъ, но эта темнота
Du vieux pont; mais l'affreux clapotement des eaux,	
Et le vent de la nuit pleurant dans les roseaux,	Журчаніе воды и вѣтра завыванье
Et deux ou trois hibous sortis de leur repaire,	
M'ont chuchoté tout bas ces mots: «Il est ton père»!	Нашептывали мнѣ: «Спиноза твой отецъ».
Et je me suis enfui dans les champs, plein d'effroi.	И далѣе въ поля бѣжалъ я, какъ бѣглецъ.
Les étoiles n'ont pas eu de pitié pour moi:	Но строго, холодно, безъ капли состраданья
Elles me poursuivaient de leur regard sévère.	Глядѣли на меня и очи дальнихъ звѣздъ.

Пропущены, правда, совы (deux ou trois hibous), но вѣдь художественный переводъ не есть подстрочникъ, и если, въ общемъ, и смыслъ, и главныя очертанія образовъ, и тонъ изложенія переданы въ соотвѣтствующихъ выраженіяхъ на другой языкъ правильной стихотворной рѣчью, то нельзя не отдать должнаго искусству переводчика, сумѣвшаго справиться вполнѣ удовлетворительно со своей задачей.

Оригинальныя стихотворенія г-жи Чюминой, изъ которыхъ представленъ для отзыва лишь небольшой сборникъ подъ заглавіемъ — «Осенніе вихри», не обладаютъ выдающимися достоинствами. Они, правда, почти всѣ изящны, пропикнуты либо красивой грустью, либо бодрой вѣрой въ лучшее будущее, вполнѣ удовлетворительны въ смыслѣ стихотворной техники[1]), даютъ рядъ умѣло составленныхъ описаній природы, но, по сущности,—все это давно извѣстно, и много разъ описано, и рельефной индивидуальностью поэзія г-жи Чюминой не отличается. Почти все содержаніе сборника сводится къ ряду картинъ природы, описаніямъ осени, зимы, ранней весны, бури или затишья, тумана или ясной погоды, бурно струящагося, или, напротивъ, высохшаго ручья и т. п. Только два стихотворенія посвящены памяти двухъ поэтовъ—Лермонтова и Надсона. Описанія даются безотносительныя, или съ субъективными примѣненіями согласно пріемамъ, вошедшимъ въ обиходъ поэзіи еще со временъ трубадуровъ и минезингеровъ, т. е. устанавливается параллелизмъ или антитеза между явленіями природы и душевнымъ состояніемъ поэта. Такъ, напримѣръ, и у г-жи Чюминой:

Когда морозомъ тронуты листы —
Припомнпается больнѣй нашъ жребій мрачный,
Безвременно погибшіе цвѣты (стр. 8).

Или: «Въ сердцѣ и въ небѣ—по прежнему тучи» (стр. 51). Или:

1) Конечно, простой опечаткой объясняется дефектный стихъ на стр. 43: «Какъ дитя *осенье* ненастье (вм. осеннее)», и то же не соотвѣтствующій общему размѣру стихъ на стр. 67, девятый ст. снизу.

«Въ душѣ, тяжелыми невзгодами разбитой,—Нѣтъ жизни, какъ ея въ листѣ поблекшемъ нѣтъ» и т. п. Г-жа Чюмина не боится общихъ мѣстъ. Если «мракъ глубокъ», то ей помнится, что и—«мигъ разсвѣта не далекъ» (76); если передъ грозой сгущаются тучи, то авторъ вѣритъ, что — «облака и мнѣ сулятъ побѣду» (76). — Настроеніе въ общемъ оптимистическое. Многократны свѣтовыя метафоры, обращенія къ «алымъ лучамъ» — золотого солнца (20), разсвѣта (17), къ «далекой веснѣ» (17), къ «яркимъ огнямъ заката» (17), вѣра въ «животворный солнечный восходъ» (18) и т. п.

Въ своей лирикѣ г-жа Чюмина, какъ указано, не выдѣляется яркой художественной индивидуальностью. Авторъ не имѣетъ повода проявлять въ ней и то, присущее ей, остроуміе и оригинальную неожиданность въ оборотахъ и риѳмахъ, которыя она выказываетъ въ своихъ стихотвореніяхъ на злобы дня. Но, судя о поэзіи г-жи Чюминой по совокупности ея многолѣтней дѣятельности на этомъ поприщѣ, оцѣнивая въ особенности достоинства ея переводовъ, я полагалъ бы, что Коммиссія по присужденію Пушкинской преміи совершила бы актъ справедливости, наградивъ ее почетнымъ отзывомъ.

Ѳ. Батюшковъ.

VIII.

В. Шуфъ: *„Въ край иной...“, сонеты. (С.-Петербургъ, 1906. 12°).*

I.

Мнѣ бы хотѣлось обратить вниманіе Разряда изящной словесности на недавно появившійся сборникъ сонетовъ г. Владиміра Шуфа подъ заглавіемъ «Въ край иной...», сонеты. (С.-Пе-

тербургъ, Товарищество Голике и Вильборгъ 1906).— Цѣлыхъ двѣсти сонетовъ! Конечно, въ такомъ почтенномъ числѣ не могутъ не встрѣтиться мало выдержанныя, не поэтичныя или просто неудачныя стихотворенія. — Имя г. Шуфа не настолько прославилось въ нашей литературѣ, чтобы можно было ожидать отъ него вполнѣ безукоризненныхъ стихотвореній, а тѣмъ болѣе сонетовъ: извѣстно, что сонетъ представляетъ собою одну изъ труднѣйшихъ формъ поэтическаго произведенія, и достигнуть въ немъ совершенства дано не многимъ. И вотъ, около четверти книжки «Въ край иной» содержитъ въ себѣ изящныя и по мысли, и по изложенію поэтическія созданія, съ которыми я и желалъ бы ознакомить Разрядъ какъ съ отраднымъ явленіемъ въ современной нашей литературѣ.

Но раньше, чѣмъ приступить къ разбору 200 сонетовъ г. Шуфа, посмотримъ, что было написано этимъ авторомъ ранѣе. Не буду касаться его прозаическихъ сочиненій (Владиміръ Шуфъ. Могила Азиса, крымскіе легенды и разсказы, 2-е изданіе Спб. 1895 г. и Владиміръ Шуфъ (Борей). На Востокѣ, записки корреспондента о греко-турецкой войнѣ, Спб. 1897 г.). Обращусь только къ стихотворнымъ его произведеніямъ, какъ болѣе удобнымъ для сравненія съ послѣднимъ сборникомъ стиховъ.

Въ библіографической справкѣ, приложенной къ одной изъ его книгъ, самъ авторъ указываетъ, что его стихотворенія печатались въ различныхъ газетахъ и журналахъ. Въ 1890 г. въ Москвѣ вышло первое изданіе его «Крымскихъ стихотвореній». Черезъ 8 лѣтъ появился: Свароговъ. Романъ въ стихахъ. Спб. 1898 г. Съ него и начнемъ.

Нуженъ изрядный запасъ терпѣнія, чтобы осилить 399 страницъ этого игриваго, съ потугами на остроуміе, полнаго пошлостей и тривіальности, плоскаго романа, написаннаго четырехстопнымъ хореемъ. Не вдаваясь въ изложеніе его содержанія—ряда любовныхъ похожденій, — приведу выдержки:

. . .едва вошелъ онъ въ двери,
Злой эффектъ явился вдругъ.
Надъ челомъ два «бра» блестящихъ,
Хоть чела фронтонъ былъ строгъ,
Видъ имѣли настоящихъ
Золотыхъ, вѣтвистыхъ рогъ.
«Бра» гостиной украшали,
Какъ рога, ученый лобъ.

Такою, изложенною раечными стихами, нескромною примѣтой авторъ подготовляетъ къ побѣдѣ своего героя надъ женою обладателя «ученаго лба». Нѣсколько далѣе, должно быть, желая полнѣе обрисовать характеръ героя романа, авторъ указываетъ въ немъ на наличіе любви къ животнымъ, которой не вытѣснило женолюбіе:

Впрочемъ, не творя кумировъ,
Все прекрасное цѣня,
Онъ берегъ межъ сувениpовъ
Хвостъ любимаго коня.
. . . . . .
Локонъ женщины прелестной
Не былъ Дмитрію такъ милъ,
Какъ твой хвостъ, товарищъ честный!
Хвостъ твой Дмитрій сохранилъ.

Нашъ авторъ несомнѣнно питаетъ слабость къ каламбурамъ, особенно въ риѳмахъ. Вотъ примѣры:

И, подобно перламъ утра,
По лазури голубой
Облака изъ перламутра
Пролетаютъ надъ тобой.

Или:

Берегитесь, на дуэли
Я, сразясь за дамъ, — задамъ!

Или:

Это кто?—Нашъ архи-олухъ! —
— Ха-ха-ха! по почему жъ? —
— Ты ошиблась: «археологъ»
Я сказалъ, — ученый мужъ!

Да проститъ мнѣ тѣнь одного изъ нашихъ сочленовъ, лишь недавно выбывшаго изъ круга почетныхъ академиковъ, если я приведу еще одинъ примѣръ:

Вотъ другой — мудрѣе ста совъ
И въ премудрости сугубъ
Громогласный критикъ С — овъ.
Онъ великъ, — великъ, какъ дубъ.

Не болѣе остроумна и также плоска слѣдующая острота, опять же касающаяся одного изъ дорогихъ для насъ именъ:

Тамъ я полонъ грезой кроткой,
И, принявъ ученый видъ,
Пыпинъ длинный, — не Короткій,
Грезъ моихъ не возмутитъ.

Желаніе острить не покидаетъ г. Шуфа на всемъ протяженіи его романа, хотя далеко не къ чести этого стихотворнаго, но никакъ не поэтическаго произведенія:

Рѣдки прелести Цирцеи,
Слава Сафочкѣ живой!
Пусть прекрасны обѣ феи,
Сафо я сравню ль съ софой?
Лучше дома въ сѣни грацій,
На софѣ писать строфу,
Въ хорѣ риѳмъ, аллитерацій,
Сафо броситъ на софу.

Вотъ еще образчикъ пошлости:

Поспѣшай къ иной землѣ,
Кто, не ставъ вегетарьянцемъ,
Любитъ женщинъ, дичь, филе.
Въ Крымъ! тамъ лавры и лимоны,
И лимоновъ двухъ овалъ
У плѣнительной Миньоны
Скрытъ подъ сѣнью покрывалъ.
Мужъ рогатый съ каждымъ годомъ
Женъ объятія тамъ—рай.

Эта пошлость и вульгарность еще усиливаются обиліемъ иностранныхъ словъ, пересыпàть которыми русскій текстъ нашъ авторъ не скупится:

Дамы модныя и франты
Въ южныхъ шляпахъ и пэнснэ
Шли, болтая, на пуанты:
Въ садъ, на плажъ, или къ Вернэ.
Ялты скверъ и плажъ люблю я:
Лунный свѣтъ бѣжитъ въ волнѣ,
И сомнамбулы, флиртуя,
Ходятъ въ скверѣ при лунѣ.

Рандеву, доминируетъ, интимный, адораторы — г. Шуфъ ничѣмъ не брезгаетъ. Передъ смертью герой романа почему то читаетъ книгу Іова, и нашъ авторъ, сперва поставивъ это имя въ общепринятомъ произношеніи, черезъ пять строкъ заставляетъ насъ произносить: Іòва, съ ударéніемъ на второмъ слогѣ.

Но закроемъ Сварогова и перейдемъ къ «Крымскимъ стихотвореніямъ» (изд. 2-е, дополненное, С.-Петербургъ 1899 г.).

Въ эту книгу изъ I-го изданія 1890 г. вошли отдѣлы: «Пѣсни юности», «Пѣсни Крымскихъ татаръ» и двѣ поэмы: «Чабанъ» и «Въ царствѣ сновъ». Остальные же отдѣлы: «На пути», «Юморески» и поэмы «Гортензія», «Бакланъ» (напечатанная въ Вѣст-

никѣ Европы въ августѣ 1892 г. и вышедшая отдѣльнымъ изданіемъ въ 1895-мъ), и «Постой» являются дополненіемъ перваго изданія.

Непонятно, почему нѣкоторыя стихотворенія, какъ напр. «Финскія скалы», и поэмы, не имѣющія ровно ничего общаго съ нашимъ южнымъ берегомъ, попали въ «Крымскія».

Хотя и въ разсматриваемой книгѣ, преимущественно въ отдѣлѣ «Юморески», попадается не мало стихотвореній бьющихъ на юморъ, но нисколько не смѣшныхъ и съ притязаніемъ на остроуміе, но поражающихъ одною пошлостью, все же въ общемъ этотъ сборникъ представляетъ шагъ впередъ въ сравненіи со «Свароговымъ». Встрѣчаются милыя вещицы, напр. «Вечеръ» (стр. 13), «Утро» (стр. 25), «Сѣверная ночь» (стр. 46) написанная совсѣмъ необычнымъ, но не неудачнымъ размѣромъ, «Весна» (стр. 77), «Какъ я тебя люблю?» (стр. 102).

Приведу наиболѣе понравившееся мнѣ:

Чатырдагъ.

Видишь тамъ среди тумана,
Сквозь ночную тьму,
Чатырдага-великана
Бѣлую чалму?

***

На груди его могучей
Вѣтеръ, духъ небесъ,
Словно бороду, дремучій
Колыхаетъ лѣсъ.

***

И склонивъ на землю око
Съ мрачной высоты,
Сторожитъ онъ одиноко
Горные хребты.

***

И одинъ орелъ могучій
Взмахами крыла
Черныхъ думъ свѣвастъ тучи
Съ грознаго чела!

Въ этихъ стихахъ, очевидно навѣянныхъ «Спором» Лермонтова, есть несомнѣнно и поэзія, и образность.

На стр. 8, въ стихотвореніи «Подъ звѣздами» между прочимъ читаемъ:

Но есть ли тамъ, за дверью гроба,
Хоть призракъ бытія?
Напрасно духъ мой ждетъ отрады.
Въ пространствѣ тонетъ взглядъ. . .
Горятъ созвѣздій міріады,
И Богъ, и міръ — молчатъ!

Это уже изъ области запросовъ вѣры, къ которымъ мнѣ придется вернуться, дойдя до сонетовъ. Авторъ какъ будто сѣтуетъ на то, что Богъ не говоритъ съ нимъ, какъ съ Моисеемъ или Ильей; но едвали изъ молчанія Бога и міра логично выводить заключеніе, что Бога нѣтъ, или о небытіи «за дверью гроба».

На стр. 106 нашъ авторъ сознается:

. . . . я радъ, если женщина мнѣ
Подаритъ хоть продажныя ласки.

Не лучше ли было бы умолчать объ этой слабости.

Иногда поэзія измѣняетъ г. Шуфу, или вѣрнѣе онъ измѣняетъ поэзіи; напр. на стр. 6: «какъ дымокъ моей сигары, едва синѣютъ сквозь туманъ вершины горъ». И неправдоподобно, а главное, отнюдь не поэтично.

Г. Шуфу надо бы быть разборчивѣе въ словахъ, не допуская такихъ, которыя неумѣстны въ описываемой области. — Напримѣръ, въ общемъ довольно удачной поэмѣ «Чабанъ», рисующей жизнь крымскихъ татаръ-пастуховъ, встрѣчаются лошади «запряженныя *цугомъ*». Въ другой поэмѣ, «Въ царствѣ сновъ»,

весьма туманной и плохой, наталкиваешься на слѣдующія непонятныя описанія:

И высился альковъ въ пустынной залѣ той,
Какъ тронъ, на ступеняхъ высокихъ пьедестала.

Или:

Блудящіе огни надъ темной вышиною
Кружились пѣною кипящаго ручья.

Въ этой поэмѣ авторъ девять разъ пропускаетъ стихи безъ цезуры на 3-й стопѣ, что въ шестистопномъ ямбѣ не позволительно и не благозвучно.

Г. Шуфъ не слишкомъ строгъ при выборѣ риѳмъ; находишь у него напр. такія: Покоемъ—легко имъ. Стулѣ—ту-ли. Поцѣлуемъ—игру имъ. Сомнѣнья—день я. Эротоманомъ—иногда намъ. Отъ усилья—сто миль я.

Поэма «Бакланъ» заслуживаетъ похвалы; написана она гладкими стихами, а содержаніе ея просто, естественно и передано достаточно поэтично. Правда, на стр. 181 есть враждебное истинной поэзіи мѣсто:

Вотъ липнутъ къ красному товару
Двѣ дѣвы красныхъ, какъ кумачъ

и на 154-й страницѣ:

Такой заливъ, по крайней мѣрѣ
По описанью, есть въ Гомерѣ.

Тутъ и прозаизмъ, и неправильность: надо не «въ Гомерѣ», а «у Гомера»; къ тому же второй стихъ неблагозвученъ.

Года четыре назадъ вышла еще поэма нашего автора: Владиміръ Шуфъ (Борей). Гибель Шемахи (Сальфа). Спб. 1902.

Это стихотвореніе не оставляетъ сильнаго впечатлѣнія, какого мы бы вправѣ ожидать отъ нея, судя по заглавію. — Не обходится безъ неумѣстныхъ для восточной поэмы словъ, напримѣръ:

Короткій край чухи атласной
Откинувъ ножкою въ *трико*.

или: «Восточной нѣгой дышатъ *позы*» или: «*балки* зданій». — Но помимо этихъ промаховъ «Гибель Шемахи» написана не дурно.

II.

Эпиграфомъ къ книгѣ «Въ край иной...» г. Шуфъ поставилъ слова: Là, où est mon soleil. А посвященіемъ ей служатъ два слова: «Тебѣ, Марія...» Въ краткомъ обращеніи къ читателю авторъ предупреждаетъ, что «отъ невѣрія и агностицизма, полнаго сомнѣній, отъ разбитыхъ святынь прошлаго длинный путь ведетъ къ вѣрѣ, въ край иной». Онъ признается, что «искалъ своей святыни среди мраморныхъ обломковъ Эллады, въ пустыняхъ Африки, на берегахъ Нила, на ближнемъ и дальнемъ востокѣ». Онъ видѣлъ міръ, — «это путь цѣлой жизни», который привелъ его въ Палестину, къ священнымъ водамъ Іордана. Свои мысли и впечатлѣнія онъ передалъ въ циклѣ сонетовъ. «Между ними есть связь, но читатель, не желающій странствовать со мною», заключаетъ авторъ, «можетъ просмотрѣть каждое стихотвореніе отдѣльно, хотя бы для одного развлеченія, если ничего иного онъ не требуетъ отъ книги и отъ поэзіи».

Если, истинно цѣня книгу и поэзію, требуешь отъ нихъ много болѣе, чѣмъ одного развлеченія, то все же я предпочту просмотрѣть сонеты г. Шуфа, разобравъ нѣкоторые изъ нихъ, какъ отдѣльныя произведенія, независимо отъ связи, которую авторъ хочетъ видѣть въ цѣломъ ихъ циклѣ.—Если и есть между ними связь, то чисто внѣшняя, обусловленная лишь тѣмъ, что они вызваны путевыми впечатлѣніями и передаютъ мысли и образы, навѣянные плаваніемъ по Черному и Средиземному морямъ въ Египетъ, пребываніемъ въ дѣйствующей арміи во время русско-японской войны, картинами родины, путешествіями за западную нашу границу, странствованіемъ на Кавказѣ и въ Крыму и па-

ломничествомъ въ Палестину. Внутренней же связи въ этихъ сонетахъ не замѣтно, если не принять во вниманіе, что безвѣріе тщетно побуждаетъ автора искать божества и въ буддизмѣ, и въ законѣ Моисея, и въ Алькоранѣ, и въ греческихъ миѳахъ, а истинная вѣра просыпается у поэта въ Святой Землѣ.

Укажу на главнѣйшія погрѣшности сонетовъ. Недостатокъ поэзіи особенно сказался у г. Шуфа въ изображеніяхъ Берлина и Парижа (CXXIX, CXXX, CXXXIII и CXXXIV).

Среди героевъ мраморной аллеи
Не видно лишь Гамбринуса, мнѣ жаль,
Но съ нимъ я встрѣчусь, заглянувъ въ *бирхалль*.

На Unter den Linden нашъ авторъ сходится со своимъ «двойникомъ», и между ними завязывается разговоръ, изъ котораго лишь съ трудомъ можно догадаться, кому изъ собесѣдниковъ принадлежитъ та или другая фраза. Оказывается, что авторъ раздвоился: въ немъ одновременно пребываютъ и поэтъ (что однако плохо доказывается разбираемымъ сонетомъ) и «финансистъ». Стихотвореніе, очевидно только по необходимости риѳмы, неожиданно заключается стихомъ:

Шумѣлъ Берлинъ, былъ сумракъ липъ тѣнистъ.

Здѣсь опять отдаетъ притязаніемъ на остроуміе.

Въ Парижѣ, наблюдая «какъ ржавѣетъ Вандомская колонна, какъ дремлетъ Лувръ, кунсткамера-дворецъ» и вспоминая, что «изъ лилій здѣсь растоптанъ былъ вѣнецъ», пустъ Notre Dame, палъ тронъ Наполеона», авторъ предвидитъ, что «и „равенству“ наступитъ свой конецъ». И, прислушиваясь, какъ «по бульварамъ роскошныхъ модъ звучалъ веселый пиръ», г. Шуфъ озадачиваетъ насъ сравненіемъ міровой столицы съ.....кускомъ сыра. Едва ли бы истинная поэзія могла подсказать такое заключеніе:

Былой Парижъ, гдѣ весь вмѣщался міръ,
Былъ въ плѣсени, изъѣденный, какъ сыръ,
И жизнь кишѣла въ этомъ сырѣ старомъ.

Слѣдующій сонетъ начинается французскими словами: Bois de Boulogne, почему то замѣняющими русскія: Булонскій лѣсъ, чего нисколько не требовалось условіями размѣра. — И этотъ сонетъ измѣняетъ поэзіи своимъ окончаніемъ:

Двѣ легкихъ сильфы шепчутся въ аллеѣ:
— «Tien, ce monsieur!» — «Je croi, il n'est pas rich!»
И здѣсь былъ тотъ же денежный Парижъ!

Опять сказывается пристрастіе автора къ каламбурнымъ риѳмамъ. Кстати замѣчу, что во французскій стихъ вкрались цѣлыхъ три ошибки.

Неясность, туманность, оставляющія въ головѣ читателя вопросительный знакъ вмѣсто цѣльнаго, опредѣленнаго впечатлѣнія, представляютъ собою недостатокъ, которому г. Шуфъ платитъ обильную дань.

Въ III сонетѣ выведенъ имъ спутникъ, котораго онъ называетъ страннымъ, своею злою тѣнью, бѣсомъ; спутникъ этотъ морщитъ лобъ «подъ феской темно-красной»; грудь его «холодна подъ золотомъ шитья». Поэтъ восхищается тихимъ, яснымъ вечеромъ на морѣ, блескомъ морской глади, далекою звѣздой, загорѣвшейся «какъ перстень драгоцѣнный», радуется «счастью бытія», но на эти восторги спутникъ отвѣчаетъ лишь скептическимъ смѣхомъ, какъ будто желая сказать, что счастье намъ чуждо, что звѣзда погаснетъ безъ слѣда. — Спрашивается, кто же этотъ спутникъ?

Въ IX сонетѣ авторъ, посѣщая бѣднѣйшій кварталъ Галаты, заходитъ въ домъ, гдѣ «двѣ старыхъ вѣдьмы развели мангалъ»; вдругъ мелькаетъ тѣнь и «красавица Атина въ красной фескѣ», смѣясь исчезаетъ въ складкахъ занавѣски. Вотъ и все. — Кто, откуда, куда эта невѣдомая Атина? — И безсодержательно, и совершенно непонятно.

Въ XL сонетѣ съ намеками на Клеопатру никакъ не поймешь, къ кому относятся стихи:

Египетъ, Смирна, берега Евбеи
Несли тебѣ (?) нарциссы, орхидеи,
Цвѣтущій кактусъ и корзины розъ.
Корабль нашъ (?) былъ пышнѣй оранжереи
И, весь въ цвѣтахъ, чрезъ волны моря несъ
Царицу счастья, юности и грезъ.

Сонетъ XLVII подъ заглавіемъ «Люциферъ» оставляетъ читателя въ полномъ недоумѣніи: кто то явился, кто то такой, кого авторъ не искалъ; онъ сверкалъ какъ звѣзда одновременно на Сѣверѣ и Югѣ, подобный чуду дивно смотрѣлъ съ вершины скалъ и проникалъ въ сердце, какъ звѣздный лучъ. Былъ близокъ часъ разсвѣта, вѣнецъ блѣднѣлъ вокругъ его чела, душа поэта не могла его отвергнуть, мысль искала признанья и отвѣта, но онъ погасъ. — При чемъ же тутъ Люциферъ? Невольно припоминаются загадочныя нѣмецкія картинки съ подписаннымъ вопросомъ: Wo ist die Katze?

Такой же неясностью отличаются сонеты CXL Призракъ, CXLVII Абрекъ и CLVII Инсаръ.

Отъ недостатковъ по содержанію перехожу къ изъянамъ по формѣ.

Г. Шуфъ удачно владѣетъ стихомъ, а потому проститъ мнѣ строгость предъявляемыхъ къ нему требованій. За исключеніемъ трехъ, его 200 сонетовъ написаны пятистопнымъ ямбомъ, одинъ шестистопнымъ (CXXVII На станціи), одинъ четырехстопнымъ, исключительно съ мужескими окончаніями (CLXXIII Греза) и въ одномъ, пятистопномъ, только первый стихъ шестистопный (CVII Листопадъ). Попадается неблагозвучность, неудобопроизносимость, напр. «Чуть слышенъ всплескъ весла»; «ветошь, скарбъ»; «лишь въ сказкахъ»; «чуждъ трепету»; «воютъ къ смерти»; «какъ въ тьму»; «я могъ въ ключѣ»; «тревожитъ въ тьмѣ»; «чувствъ сомнѣньямъ».

Въ сонетѣ CXXI Польша встрѣчается непринятое удареніе: «Тотъ старый садъ, гдѣ зелень такъ густа *вишѣнника*, смородины, малины».

Мой авторъ значительно облегчаетъ себѣ трудъ, допуская риѳмы безъ строгаго разбора, какъ напр. странно — брамана; тритоны — бездонны (подобныхъ риѳмъ очень много); лица — снится; грудѣ—груди; были—могилѣ. Въ сонетѣ XXXVI Рамли ради риѳмы къ *часъ*, *насъ* и *глазъ*, слово оазисъ (не безызвѣстное автору, такъ какъ оно въ этомъ видѣ поставлено въ сонетѣ XXXVII «Папирусъ»), превращено въ сомнительный *оазъ*.

III.

Все вышеизложенное можетъ навести Разрядъ изящной словесности на упрекъ критику, такъ долго утруждающему вниманіе почтеннаго собранія длиннымъ перечисленіемъ отрицательныхъ сторонъ въ творчествѣ разбираемаго автора. — Извиняясь въ злоупотребленіи вашимъ терпѣніемъ, поспѣшу указать на тѣ сонеты, которые побудили меня привлечь къ нимъ ваше сочувствіе.

Начну съ сонета CXXVI-го, который особенно близокъ намъ, какъ относящійся къ одному изъ первыхъ членовъ Разряда изящной словесности, уже почившему Почетному Академику:

Пророкъ.

Памяти В. С. Соловьева.

Онъ полонъ былъ таинственныхъ видѣній,
Ему гробницы были отперты,
Безсмертной жизни вѣчныя мечты
Угадывалъ его творящій геній.
Его лицо чистѣйшей красоты,
Глубокій взглядъ, бровей суровыхъ тѣни, —
Библейскія и строгія черты
Передо мной встаютъ въ часы сомнѣній
Онъ былъ пророкъ, по всѣмъ былъ любимъ.
Казалось, свѣтъ по волосамъ сѣдымъ
Скользилъ, какъ лучъ святой, необычайный.

Природа, Богъ ему открыли тайны.
Онъ проникалъ познаніемъ своимъ
И въ даль вѣковъ, и въ міръ вещей случайный.

Сонетовъ, заслуживающихъ похвалы, а слѣдовательно и вашего вниманія, болѣе 50-ти; я очевидно не могу выписать ихъ всѣ цѣликомъ; многіе изъ нихъ придется мнѣ пересказывать своими словами, а поэтическія созданія тѣмъ и хороши, что не поддаются передачѣ сухою прозой.

Г. Шуфъ разбилъ свой сборникъ на шесть отдѣловъ, которые озаглавилъ такъ: «Путь первый. Въ Египетъ»; далѣе идетъ: «Путь второй. Война». Потомъ слѣдуютъ отдѣлы: «На родинѣ», «Къ Западу», «Въ горахъ» и «Палестина».

Слѣдуя только до нѣкоторой степени подраздѣленію автора, предпочитаю разсматривать сонеты въ нѣсколько иномъ порядкѣ, болѣе подходящемъ къ моей цѣли.

На первыхъ же порахъ привожу первый сонетъ сборника:

Прости.

Былъ вечеръ тихъ, сады благоухали,
И яблони стояли всѣ въ цвѣту.
Въ послѣдній разъ, исполненный печали,
Родной земли я видѣлъ красоту.
Я уѣзжалъ въ невѣдомыя дали,
Гдѣ дни тревогъ, гдѣ злыя бури ждали,
А соловей въ сиреневомъ кусту
Пѣлъ молодость и счастье, и мечту.
Довольно грезъ! Я зналъ всѣ сердца муки,
И на моемъ обманчивомъ пути
Цвѣтамъ весны безпечно не цвѣсти.
Пѣлъ соловей.... Полны тоской разлуки
Неслись въ саду плѣнительные звуки.
Садъ говорилъ мнѣ доброе «прости!»

По настроенію, по поэтическому описанію сѣверной природы, къ этому вступленію примыкаетъ сонетъ LXXXVIII, первый въ отдѣлѣ «На родинѣ», носящій это же заглавіе. Онъ такъ же удаченъ, какъ и только что приведенный. Поэтъ «въ домъ родной пришелъ издалека» и застаетъ давно знакомыя, любимыя картины: балконъ, шаткія ступени, заснувшій, полный сладкой лѣни садъ, бѣгъ рѣки среди луговъ; онъ слышитъ съ дорожки цвѣтника жужжанье пчелъ, ему чудятся взглядъ карихъ глазъ, улыбка, русый локонъ:

Давно, давно исчезнули они!
Сирени кустъ одинъ цвѣтетъ у оконъ, —
Такой же все, разросся, не поблекъ онъ
И весь въ цвѣтахъ, какъ въ тѣ былые дни.

Если риѳмы «у оконъ — поблекъ онъ» не слишкомъ удачны, то весь сонетъ все же очень милъ.

Въ томъ же отдѣлѣ сонетъ CIX, поэтично описывающій Павловскій паркъ и «девять Музъ предъ Фебомъ-Аполлономъ», и храмъ Дружбы, и «темный гротъ въ долинѣ»,

Гдѣ свѣтлый богъ оплаканъ и забытъ.
Въ травѣ густой разбитый мраморъ спитъ.
Тамъ я забылъ всѣ прежнія святыни
Для Сильвіи, зеленыхъ рощъ богини.

Но поэтъ погрѣшилъ противъ ботаники, утверждая, что въ Павловскѣ «растетъ тѣнистый букъ», тогда какъ извѣстно, что это дерево чуждо окрестностей Петербурга.

Укажу на художественный по описанію статуй на Аничковскомъ мосту сонетъ CX:

Бронзовые кони.

Передъ дворцомъ, изъ бронзы отлитые,
Есть кони дивные. Ихъ пьедесталъ —

Гранитный мостъ, устои вѣковые.
Коней тѣхъ Клодтъ искусно изваялъ.
Вставъ на дыбы, узду узнавъ впервые,
Взвились они мятежнѣе стихіи,
Но человѣкъ смирилъ ихъ и взнуздалъ,
Напрягши грудь и мускуловъ металлъ.
Художникъ смѣлый выразилъ въ контрастѣ
Двѣ силы здѣсь, — борьбу ума и страсти.
Высокій смыслъ въ скульптурѣ этой скрытъ.
Звѣрь поднялся, ударами копытъ
Поверженъ всадникъ, но желѣзомъ власти
Безумство чувствъ разсудокъ побѣдитъ.

Если не русскія слова: *пьедесталъ, мускулы, контрастъ, скульптура* непріятно поражаютъ въ стихахъ, то какъ не простить ихъ поэту за несомнѣнно прекрасное изображеніе извѣстныхъ статуй, за превосходный оборотъ рѣчи «Напрягши мускуловъ металлъ», за счастливое олицетвореніе борьбы ума и страсти и за гордую увѣренность въ томъ, что безумство чувствъ долженъ побѣдить разсудокъ желѣзомъ власти.

Въ сонетѣ CXIII остроумно и изящно обращеніе къ Князю Касаткину-Ростовскому:

Пусть не звонятъ, тебя встрѣчая, князь,
Колокола умолкшіе Ростова. . . .

Но не могу не усмотрѣть сильнаго преувеличенія въ утвержденіи, что удѣлъ упомянутаго князя — «княженье въ царствѣ слова», что въ его стихахъ

Намъ колоколъ ростовскій слышенъ снова,

и что его голосъ «будетъ славою отчизны».

Зима навѣяла г. Шуфу два удачныхъ сонета CXIV и CXXIII. Въ первомъ изъ нихъ хорошо, образно и красиво описано окно разубранное «прихотью мороза», а второй настолько удаченъ, что не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать его цѣликомъ:

Зимній вечеръ.

Изъ облаковъ, изъ бездны неба синей
Взошла луна надъ снѣжною пустыней.
Сверкаетъ лѣсъ въ вѣтвяхъ изъ серебра. . . .
Алмазныхъ звѣздъ разсыпалась игра.
Лѣсную глушь окуталъ бѣлый иней,
Безмолвьемъ вѣетъ зимняя пора.
Какъ хорошо въ такіе вечера,
Какъ дышитъ міръ забытою святыней.
Поля горятъ чистѣйшей бѣлизной
И въ хлопьяхъ снѣгъ летитъ въ дали пустынной, —
Летитъ, блеститъ и гаснетъ подъ луной.
Снѣгъ, — точно пухъ отъ стаи лебединой.
Не крылья ли бѣлѣютъ надъ долиной,
Не крылья ли уносятъ въ край иной?

Надо отдать справедливость нашему автору — его Муза отнюдь не страдаетъ односторонностью; если весь сборникъ отличается разнообразіемъ содержанія сонетовъ, то эта разносторонность особенно замѣтна въ отдѣлѣ «На родинѣ». Тутъ встрѣчаются и впечатлѣнія навѣянныя городами, напр. Варшавой (CXXI Польша) и Одессой (CXX), и нѣмцы-колонисты (CXIX Клейнлибенталь), и свѣтлая лѣтняя ночь въ Финляндіи (CXXIV Ночь на Саймѣ), и степной просторъ (CXXV Донскія станицы), и берега Наровы (CXVIII Башня Германа), и обращенія къ художникамъ (CXV Студія, CXVI Художнику), и крысы подгрызающія жилище автора (CII), и любовь (CI Воспоминанье, CXI Вечеръ), и блестящее изображеніе Высочайшаго смотра войскамъ въ Петербургѣ (XCVI Цезарь), и наконецъ отголоски самой послѣдней современности — «освободительнаго движенія» (LXXXIX Революція, XC Казнь, XCIV Власть), погромовъ помѣщичьихъ усадебъ (XCI Пугачевъ), фабричныхъ забастовокъ (XCII На фабрикѣ) и даже гибели священника Гапона (XCIII Измѣнникъ). Не останавливаюсь болѣе подробно на упомянутыхъ

сонетахъ, ограничиваясь указаніемъ на самыя лучшія созданія нашего автора.

Море также даритъ г. Шуфу счастливыя вдохновенія; въ сборникѣ есть нѣсколько сонетовъ, посвященныхъ этой стихіи; въ четырехъ изъ нихъ (V, XII, XXXII и CLXVII) ему удалось изобразить ее звучными, блестящими стихами. Авторъ любитъ море, его «лазурную ширь», его зыбь, легкую «какъ сладкій вздохъ», его «вѣтерокъ соленый, влажный, чистый»; къ поэту волна

спѣшитъ издалека
Вся въ жемчугахъ и золотомъ уборѣ.

Въ одномъ изъ этихъ сонетовъ невольно залюбуешься такими образами:

Но мѣсяцъ всталъ надъ моремъ голубымъ
И плещетъ волнъ сверкающая грива.
Свой перстень въ море бросила луна,
И золотомъ зажглось оно, блистая,
(CLXVII Черное море).

И какъ излюбленный припѣвъ звучатъ въ концѣ V-го сонета «Море» не разъ повторяющіяся въ сборникѣ слова, отвѣчающія его заглавію:

Моей души неясное исканье
Меня влечетъ тревожно *въ край иной.*

Вотъ лучшій изъ сонетовъ рисующихъ море (XXXII):

Въ Средиземномъ морѣ.

Закатъ погасъ, колышетъ волны сонъ,
И темно-синее померкло море.
Богинѣ дня, сіяющей Аврорѣ,
Допѣлъ вечерній гимнъ свой Аполлонъ.

Ему вослѣдъ взошла Діана вскорѣ.
Изъ глубины на дальній небосклонъ
Она спѣшитъ, и нѣжно озаренъ
Морской просторъ, звучащій въ стройномъ хорѣ.
И не сама ль богиня по волнамъ
Плыветъ въ пурпурной раковинѣ тамъ,
И алый парусъ зыблется, играя?
Все въ струйкахъ море, — съ края и до края....
И вновь напомнила моимъ мечтамъ
Твой зыбкій локонъ струйка золотая.

Пестрыя картины Востока (ближняго), я бы сказалъ — яркія акварели — тоже нашли себѣ мѣсто въ сборникѣ. Объ одной изъ нихъ, по моему неудачной, я уже упомянулъ выше (IX Атина); справедливость требуетъ указать на болѣе художественныя; такими представляются мнѣ XV «Курды», гдѣ выпукло и вмѣстѣ съ тѣмъ просто, образно и поэтично изображены жители Смирны и ихъ обычаи, а также VIII-й, въ которомъ Царьградъ прекрасно описанъ очень хорошими стихами. Въ заключеніи сонета нашъ поэтъ роднится мыслью съ Хомяковымъ и Тютчевымъ, часто касавшимися этихъ дорогихъ русскому сердцу струнъ:

О чемъ ты грезишь, старый Цареградъ?
Падетъ глава, вѣнчанная тюрбаномъ,
Лучи креста Софію озарятъ.
Судьба твоя прославится баяномъ.
Объединеннымъ въ дружествѣ славянамъ
Да будетъ здѣсь единый царь и градъ!

Но особенно хорошъ сонетъ XIV; судите сами.

Смирна.

Алмазъ и жемчугъ, четки янтарей,
Узорный стихъ на сталн ятагана, —

Нѣтъ ничего богаче и пестрѣй
Роскошной Смирны, дочери Корана.
Причудливо, плѣнительно и странно
Все дремлющимъ Востокомъ дышитъ въ ней, —
Верблюдъ въ тѣни прохладнаго фонтана
И у мечети крылья голубей.
Клинокъ сверкаетъ, кованый въ Дамаскѣ,
Кальянъ дымится въ зелени шатра,
И говоритъ Шехеразада сказки.
Здѣсь жизнь сама, волшебна и пестра,
Сплетаетъ свой узоръ, цвѣты и краски
Пышнѣй и ярче смирнскаго ковра.

Прелестны сонеты посвященные Греціи. Къ нимъ причисляю я и VII-й «Камея», помѣщенный авторомъ въ отдѣлѣ «Въ Египетъ» между прекрасными стихотвореніями «Византія» и «Царьградъ»; посмотрите, какъ хорошо окончаніе:

Сардоникъ млечный алая заря
Окрасила оттѣнками коралла.
Чей нѣжный профиль смотритъ изъ овала?
Ликъ Арсинои, ликъ сестры царя?
Свои черты, на оникѣ горя
Богиня Эосъ утромъ рисовала.

Поэтъ приближается къ Аѳинамъ и, вотъ что мы читаемъ въ сонетѣ XXI-мъ «Пирей»:

Весь портъ гремитъ торговой суетой, —
Лишь на холмахъ въ сіяньи небосклона
Виднѣются руины Партенона.
Такъ посреди ничтожности пустой,
Гдѣ жизнь пестра, шумна, неугомонна,
Душа летитъ за свѣтлою мечтой.

Въ слѣдующемъ XXII-мъ сонетѣ поэтъ говоритъ:

Увидѣлъ я прекрасныя Аѳины,
Бѣлѣвшія въ синѣющей дали.
. . . . . .
Какъ путники, что здѣсь въ былые дни
Въ сандаліяхъ вступали въ край Паллады,
Остановись и посохъ преклони.

Не менѣе изященъ сонетъ XXIII «Акрополь», изъ котораго беру окончаніе:

Не вѣтеръ ли скользнулъ надъ Партеноном?
Мнѣ чудилось, пронесся тихій вздохъ
Отъ портика по рухнувшимъ колоннамъ.

Въ сонетѣ XXVI «Элевзисъ» читаемъ:

Я подошелъ къ таинственнымъ руинамъ.
Слѣдъ колесницъ въ ихъ каменную грудь
Здѣсь врѣзался, — какъ будто кто нибудь
Провелъ рѣзцомъ на мраморѣ старинномъ.
. . . . . .
И красный макъ вдоль трещинъ древнихъ плитъ,
Гдѣ тлѣлъ огонь Діаны и Цереры,
О пламени потухшемъ говоритъ.

Пропуская сонеты XXVII «Мраморъ» и XXVIII «Фалеро», привожу цѣликомъ XXIX:

Олимпъ.

Какъ жертвенникъ, гдѣ темный и летучій
Отъ гекатомбъ несется къ небу дымъ,
Олимпъ вставалъ видѣніемъ сѣдымъ,
Одѣтый въ снѣгъ и сумрачныя тучи.

Онъ былъ суровъ, пустынный и могучій,
Но лучъ, скользя по облакамъ густымъ,
Зажегъ вершинъ серебряныя кручи
Божественнымъ сіяніемъ своимъ.
Какъ будто бы раскрылася завѣса,
И видѣлъ я престолъ и храмъ Зевеса. . . .
Нагорный снѣгъ былъ мрамора бѣлѣй.
Но пусть Олимпъ. . . . За далью скалъ и лѣса
Въ Ѳессаліи, среди ея полей,
Лежалъ боговъ почившихъ мавзолей.

Нѣсколькими недурными сонетами нашъ авторъ обязанъ Египту. Извлекаю слѣдующія строки изъ «Фонтана Клеопатры» (XXXVIII):

Египетской царицы гибкій станъ,
Грудь смуглую, запястья золотыя
И скарабей, Изиды талисманъ,
Здѣсь отражали волны ключевыя.
Съ толпой рабынь царица шла сюда
И, пурпуръ свой съ плечъ бронзовыхъ слагая,
Вся пахла амброй, знойная, нагая....

А вотъ XXXIX сонетъ:

Мумія.

На берегахъ таинственнаго Нила,
Въ безмолвіи священныхъ пирамидъ
Прахъ Клеопатры древность сохранила....
Въ своей гробницѣ мумія лежитъ.
Ты здѣсь еще.... Не все взяла могила,
И образъ твой хранитъ свой прежній видъ.
На пеленѣ, которой станъ обвитъ.
Нардъ, амбра, мускусъ, — все, что ты любила.

Безсмертья нѣтъ, но спящія черты
Изъ тьмы вѣковъ глядятъ на насъ, желтѣя.
На мѣстѣ сердца — камень скарабея.
О, Клеопатра! такъ-ли, это — ты?
Гдѣ пиръ любви. чертоги Птоломея,
И власть, и блескъ роскошной красоты!

IV.

Отдѣлъ «Война» особенно близокъ сердцу. Въ немъ затронуты наиболѣе завѣтныя мысли и чувства, и нельзя не привѣтствовать автора за прекрасные стихи, въ которыхъ онъ воспѣлъ скорбную годину, пережитую всѣми нами съ острою, жгучею болью въ душѣ, съ трепетными надеждами на побѣду, съ горькимъ разочарованіемъ пораженій, со слезами о павшихъ и тоскою за покинутыхъ ими.

Начну съ сонета LXI:

Передъ битвой.

Смеркнется. Степная даль туманна.
Ползутъ грядою сѣрой облака.
Построившись къ молитвѣ у кургана,
Стоятъ ряды пѣхотнаго полка.
Замолкнулъ бой тревожный барабана,
Священникъ сталъ, подъемлетъ крестъ рука,
И «Отче нашъ» звучитъ издалека
Въ рядахъ солдатъ вдоль дремлющаго стана.
Послѣдній лучъ погаснулъ за горой,
И вороновъ кружится въ небѣ стая,
Зоветъ бѣду, заутра кличетъ въ бой.
Далече въ глубь враждебнаго намъ края
Запла ты, рать великая, родная...
Въ вечерній часъ я помолюсь съ тобой.

Это стихотвореніе прекрасно. Какъ просто и вмѣстѣ съ тѣмъ сильно выражена торжественная минута вечерней молитвы наканунѣ боя, какъ кстати здѣсь и эти сѣрыя, ползущія облака, и зловѣщіе вороны — спутники битвъ, сколько чувства въ обращеніи къ войску! Написавшій эти строки не могъ не сказать:

Здѣсь съ родиной крѣпка лишь сердца связь,

какъ говорится въ сонетѣ LX.

Съ замираніемъ сердца читаешь такія строки:

Въ дымкàхъ блестятъ шрапнельные огни.
Полки враговъ, таясь на горныхъ склонахъ,
Ползутъ въ кустахъ, все ближе къ намъ они,
Все чаще гулъ ружейной трескотни,
И вотъ идутъ, построившись въ колоннахъ.
Японскихъ пуль свистящій, тонкій звукъ,
Привычный намъ, послышался вокругъ.
Гроза войны грохочетъ съ новой силой.
Быть можетъ здѣсь конецъ тревогъ и мукъ....

(LXII. На сопкахъ).

Эти строки краснорѣчиво помѣчены: Вафангоу, 2 іюня, что придаетъ имъ особо завѣтное значеніе.

Не могу не выписать цѣликомъ нѣсколькихъ слѣдующихъ сонетовъ: нельзя пройти мимо нихъ безъ вниманія или ограничиться однѣми скупыми выдержками.

Кто идетъ.

На полѣ мгла. Съ винтовкой часовой
Среди вѣтвей на деревѣ, какъ птица,
Какъ соколъ, въ темной зелени гнѣздится,
До полночи дозоръ свершая свой.

Не вѣтеръ ли колышетъ тамъ травой?
Солдатъ глядитъ, — все поле шевелится.
Мерещатся знамена, тѣни, лица...
«Эй, кто идетъ?» — Безмолвенъ мракъ ночной.
— «Кто тамъ идетъ?» — онъ окрикъ повторяетъ,
Прицѣлился винтовкой: «Кто идетъ?»
— «Смерть!» — шепчетъ ночь. «Смерть!» — вѣтеръ отвѣчаетъ.
Луна взошла, горитъ среди высотъ,
На полѣ битвы мертвыхъ озаряетъ.
Онъ крестится, онъ видитъ—смерть идетъ.
(LXIII).

Развѣ не становится жутко отъ этой картины?

Слѣдующіе сонеты LXIV, LXV, LXXII и LXXIII говорятъ сами за себя:

Въ гаолянѣ.

Подъ сопками, гдѣ шепчетъ гаолянъ,
Онъ умиралъ, и дальней битвы звуки
Неслись къ нему по зелени полянъ.
Ружейный стволъ еще сжимали руки.
Онъ умиралъ, онъ изнемогъ отъ ранъ.
Въ чужой странѣ, среди послѣдней муки
О родинѣ онъ думалъ въ часъ разлуки,
Объ арміи, покинувшей свой станъ.
Еще кипѣлъ, — онъ слышалъ, — бой кровавый.
Не тщетно-ль онъ на полѣ битвы палъ?
Побѣды часъ еще не наступалъ....
Но крыльевъ тѣнь вблизи одѣла травы.
Паря надъ нимъ, вѣщунъ грядущей славы,
Орелъ летѣлъ къ далекимъ гребнямъ скалъ.

Воронъ.

(На смерть Графа Келлера).

Что воронъ мой, бѣды вѣщунъ крылатый,
Что каркаешь ты на полѣ пустомъ?
Несешь намъ вѣсть злой кары, злой утраты?
Придетъ пора, — узнаемъ мы потомъ!
— «Я съ дальнихъ горъ. Стоитъ тамъ гробъ досчатый
Подъ саблею и шапкою съ крестомъ,
Храбрѣйшій вождь лежитъ во гробѣ томъ.
Его въ слезахъ оплакали солдаты.
Онъ палъ въ бою. Кровавыхъ тридцать ранъ
На тѣлѣ у него горятъ глубоко.
Судьбой ему былъ славный жребій данъ.
Онъ воскресилъ надеждой русскій станъ;
Но есть гора, гора гдѣ край Востока,
Гдѣ онъ погибъ отъ родины далеко».

Тѣни.

Бѣжитъ вагонъ.... Смѣшались въ общей грудѣ
Убитые и раненые люди.
Ихъ, какъ дрова, сложили второпяхъ.
Во тьмѣ ночной всѣхъ гонитъ жуткій страхъ.
Надежды нѣтъ, — спасенье только въ чудѣ.
Съ предсмертною молитвой на губахъ
Застылъ солдатъ. Съ нимъ рядомъ кровь и прахъ,
Тѣла людей, прострѣленныя груди.
Течетъ изъ ранъ кровавая рѣка
И льется внизъ съ бѣгущаго вагона.
Желѣзный лязгъ не заглушаетъ стона.
Не брежу-ль я? Костлява и тяжка
Легла на тормазъ мертвая рука.
То смерть стоитъ, — начальникъ эшелона.

Сибирцы.

Звучитъ труба, холмы заговорили,
Среди огней, среди взметенной пыли
Въ папахахъ черныхъ движутся полки.
Они какъ звѣрь, оскалившій клыки,
Щетинятся....
Японцы близко были,
Безмолвные въ траншеяхъ, какъ въ могилѣ.
Но вотъ «ура!» Сибирскіе стрѣлки
Черезъ окопъ ударили въ штыки.
Полна стремленья, топота и гула
Волна солдатъ черезъ окопъ хлестнула,
Штыками гребень бѣшеный блестѣлъ.
И желтыхъ карликовъ, простертыхъ тѣлъ
Лежатъ ряды, — всѣхъ смерть къ землѣ пригнула.
То съ Сѣвера буранъ нашъ налетѣлъ!

Надо поставить въ заслугу поэту, что изображая «ужасы войны», описывая раны, кровь и смерть, онъ не переступаетъ грани художественности, не превращаетъ поэзіи въ анатомическій театръ, какъ это дѣлаетъ, напр., Леонидъ Андреевъ въ «Красномъ смѣхѣ», а между тѣмъ нашъ поэтъ не отступаетъ отъ правды, которая становится тѣмъ правдивѣе, тѣмъ ближе къ жизни, чѣмъ лучше умѣетъ поэтъ во время умолчать объ иныхъ подробностяхъ. Художественное, поэтическое чутье подсказало г. Шуфу истинную мѣру.

Изъ отдѣла «Война» приведу еще два сонета LXXVIII и LXXIX, полные прекрасныхъ образцовъ и богатой фантазіи.

Блокгаузъ.

Вотъ нашъ блокгаузъ среди степной равнины.
Вдоль стѣнъ его шагаетъ часовой,

А во дворѣ у башни угловой
Настурціи, левкои, георгины.
Заботливо разбитъ цвѣтникъ картинный
Вкругъ домика, гдѣ постъ сторожевой.
И розы тамъ раскрыли вѣнчикъ свой,
И у воротъ деревьевъ тѣни длинны.
Кто ждалъ бы тамъ цвѣтущихъ клумбъ и грядъ,
Гдѣ лишь бойницъ чернѣетъ грозный рядъ?
Цвѣты и пушки — пестрое смѣшенье!
На дняхъ здѣсь было жаркое сраженье....
Какъ странны люди: въ сердцѣ ихъ царятъ
Вражда и нѣжность, дружество и мщенье.

Разъѣздъ.

Подъ сопками, при яркомъ свѣтѣ звѣздъ
Ночнымъ дозоромъ движется разъѣздъ.
Три всадника всего въ отрядѣ конномъ,
Закрыты лица чернымъ капишономъ.
Безмолвные, среди пустынныхъ мѣстъ,
Какъ тѣни, ѣдутъ по нагорнымъ склонамъ,
И русскій станъ въ его затишьи сонномъ
Не торопясь объѣхали окрестъ.
Легки ихъ кони. Отъ копытъ ложится
Кровавый слѣдъ надъ влажною травой.
Передній всадникъ плащъ приподнялъ свой.
Чернѣя смотритъ въ черепѣ глазница.
Моръ, Голодъ, Смерть свои открыли лица,
Киваютъ спящимъ мертвой головой.

V.

Нашъ поэтъ на протяженіи всей книги часто затрогиваетъ вопросы вѣры. Этой стороною его творчества я и закончу свой

очеркъ, тѣмъ болѣе, что авторъ самъ въ своемъ вступленіи признается, что въ его книгѣ разсказана исторія души, ищущей Бога.

Еще въ самомъ началѣ книги въ сонетѣ IV «Забытый храмъ» поэтъ сравниваетъ свою душу съ разореннымъ храмомъ: алтарь поруганъ и разбитъ, святые лики въ оправѣ ризъ стерты, свѣтильникъ палъ на мраморныя плиты;

Ни пѣсенъ, ни молитвъ.... Тоской объятъ
Печальный умъ. Чему молиться нынѣ?
Къ кому воззвать, во что я вѣрить радъ?

Нѣсколько позднѣе (XIII—Легенды) авторъ прислушивается къ преданьямъ давнихъ лѣтъ; ему мечтательно звучатъ притчи брамана, еврейскій законъ Моисея, арабскія легенды рая и гурій Магомета;

Священныхъ книгъ сказанья и примѣры
Въ младенчествѣ народовъ рождены,
И зрѣлый умъ напрасно ищетъ вѣры.
Мы знать хотимъ, мы вѣровать должны.
Зачѣмъ молчатъ пустыни и пещеры,
И Богъ живетъ лишь въ сказкахъ старины?

Плывя мимо лазурнаго мыса Суніона,
Гдѣ сладокъ волнъ Эгейскихъ лепетъ сонный,

поэтъ видитъ нависшій надъ бездной мраморный храмъ и восклицаетъ:

О, боги Греціи! вашъ древній храмъ
Въ развалинахъ надъ гладью моря синей,
Но красота и счастье милы намъ.
Не служимъ мы кумирамъ и богамъ,
Потухъ огонь предъ новою святыней, —
И въ сердцѣ ночь, и міръ еще пустыннѣй.

(XX. Суніонъ).

Безвѣріе вполнѣ овладѣваетъ душою поэта;
Не пережить минувшаго опять.
Знакомы намъ науки, лжеученья,
Расколъ ума и вѣры благодать.
Но къ намъ сойдутъ ли горнія видѣнья?
Не знаю я, не смѣю утверждать,
Не вѣрую и въ самыя сомнѣнья?

(XXXV. Агностикъ).

Но жажда вѣры, жгучая и неутолимая, продолжаетъ жить въ сердцѣ поэта:

Никто, нигдѣ не видѣлъ въ мірѣ Бога
И, Сущій, былъ всегда незримымъ Онъ.
. . . . . .
Передъ умомъ безмолвствуетъ природа.
Лишь въ часъ молитвъ угаданный едва
Надежды лучъ намъ свѣтитъ съ небосвода.

(XLV. Сомнѣнье).

Проблески надежды иногда смѣняются еще болѣе мрачными сомнѣніями:

Случайный міръ не созданъ Божествомъ,
И еслибъ мы воззвать къ Нему хотѣли, —
Отвѣта нѣтъ. . . . Міръ пустъ и ночь кругомъ.

(XLVI. Отчаяніе).

Въ Манчжуріи (отдѣлъ Война. LXVIII Будда) автору загородилъ доступъ къ ущелью загадочный, громадный идолъ Будды; въ его чертахъ поэтъ видитъ «глубокій сонъ безъ грезъ, небытіе, спокойствіе, Нирвану» и восклицаетъ:

Изъ состраданья такъ же, какъ Христосъ
Не жизнь, а смерть вселенной онъ принесъ.

Въ этомъ «такъ же» кроется не только отрицаніе, но и искаженіе евангельской истины.

Выдержка приведена изъ сонета, слѣдомъ за которымъ идетъ LXIX-й, настолько изящный, что, отрываясь отъ нити изложенія, приведу его сполна:

Лотосъ.

Спитъ лотосъ бѣлый въ сумракѣ ночномъ. . . .
Молися Буддѣ, вѣрь Сакьямуни!
Прекрасной Майи лучезарнымъ сномъ
Свободный умъ и духъ не обмани.
Спитъ лотосъ бѣлый въ отблескѣ рѣчномъ.
— Цвѣты земли, — зовутъ къ мечтамъ они.
Но тайна жизни въ лотосѣ одномъ. . . .
Молися Буддѣ, вѣрь Сакьямуни!
Желаній, чувствъ кипящій водопадъ
Умчится прочь, покой въ твоемъ умѣ.
Міръ страждущій Нирванѣ незнакомъ.
Чуть озаренъ огнемъ ночныхъ лампадъ
Священный лотосъ дремлетъ въ сонной тьмѣ,
И древній Гангъ простерся предъ цвѣткомъ.

Въ отдѣлѣ «Въ горахъ», посвященномъ картинамъ Кавказа и Крыма, обращаетъ на себя вниманіе прекрасное окончаніе сонета CL. «Крымскія горы»; синѣющія тѣни горъ рисуются передъ поэтомъ далекимъ, смутнымъ очеркомъ:

Онъ въ свѣтлый край мечты мои увлекъ
За небосклонъ, въ туманы отдаленій.
Что ждетъ меня, и что я тамъ найду?
Моей души непризнанное горе,
Моей любви погасшую звѣзду?
Пусть гребни волнъ играютъ въ шумномъ спорѣ,
Я парусъ свой направлю снова въ море.
Чтобъ ни было, — я вѣрую, я жду!

Перечислю въ этомъ отдѣлѣ наиболѣе понравившіяся мнѣ стихотворенія: CLXII Мертвый городъ — поэтичное описаніе Чуфутъ-Калэ,—CLXIII Караимы, CLXV Чаиръ, CLXVI Дерекой, CLXXIV Часовня въ горахъ.

Выпишу сонетъ CLX:

Горная обитель.

Святыя есть обители въ горахъ....
На высотѣ, презрѣвшей дольній прахъ,
Монастыри стоятъ за облаками.
Вѣнецъ изъ звѣздъ горитъ на Божьемъ храмѣ.
Въ пещерахъ тамъ спасается монахъ,
Соединивъ могилу съ небесами.
Тамъ вѣчный миръ, замолкли бури сами,
И тишина на горнихъ высотахъ.
Даруя жизнь цѣлительной прохладой,
Лишь ключъ святой лепечетъ за оградой,
Гдѣ подъ скалой деревья разрослись.
Но мнѣ-ль бѣжать въ заоблачную высь?
О странникахъ молясь передъ лампадой,
И обо мнѣ, затворникъ, помолись!

Мы видимъ, что безвѣріе постепенно смѣняется если еще не вѣрой, то стремленіемъ къ ней. Душа поэта не выноситъ собственной пустоты и пламенно желаетъ найти смутно угадываемое, но еще невѣдомое сокровище, которое заполнило бы эту пустоту.

Уже ранѣе, лицомъ къ лицу съ войскомъ, наканунѣ битвы, онъ слышитъ пѣніе вечерней молитвы и невольно присоединяется къ ней, хотя вѣра еще не коснулась его души. Чѣмъ дальше, тѣмъ чаще встрѣчаются признанія, въ которыхъ звучитъ потребность молитвы, а слѣдовательно и вѣры. Напримѣръ въ сонетѣ XCVII Русь:

За рощею, встрѣчая лучъ денницы,
Звѣздой сіяетъ золото креста.
Тамъ вѣчный свѣтъ и благовѣстъ о Богѣ.
Гулъ многозвонный слышенъ изъ села,
Зовущіе гудятъ колокола.
Молюсь за тѣхъ, кто странствуетъ въ дорогѣ.
Я не забылъ минувшія тревоги,
Но въ этотъ часъ душа моя свѣтла.

И вотъ, нашъ поэтъ достигаетъ Святой Земли; сонетъ CLXXVI-й описываетъ. —

Іерусалимъ.

Голгоѳы тѣнь, подножіе креста,
Кувукліи пещерная лампада, —
Не тамъ, не тамъ увидѣлъ я Христа,
Гдѣ храмъ сѣдой, гдѣ изъ камней громада.
Я проходилъ нагорныя мѣста.
Тамъ маслины шумѣли въ чащѣ сада,
Тамъ Онъ стоялъ,—какъ небо, благость взгляда,
Какъ сладость розъ, прекрасныя уста.
Видѣнья ли молитвенныя грезы,
Мечты-ль моей безгрѣшный, свѣтлый сонъ, —
Въ одеждѣ бѣлой встрѣтился мнѣ Онъ.
Не тернія, страданія и слезы, —
Цвѣтокъ нашелъ я геѳсиманской розы
Въ святомъ саду, гдѣ путь на Елеонъ.

Сомнѣнія разсѣиваются, какъ утренній туманъ подъ лучами солнца; вѣчный образъ Распятаго предсталъ передъ поэтомъ во всей славѣ, во всемъ величіи своего уничиженія, и предсталъ ему тамъ, гдѣ впервые зазвучала проповѣдь любви къ меньшому брату. — Прочтемъ сонетъ CLXXVIII:

Виѳлеемъ.

Въ святой Землѣ, въ краю обѣтованномъ
Среди холмовъ, въ пустынѣ ли найду
Меня во тьмѣ зовущую звѣзду?
Я долго шелъ въ скитаньи неустанномъ.
День погасалъ, склоняясь къ дальнимъ странамъ.
Вотъ ночь зажгла лампадъ своихъ чреду....
И Виѳлеемъ, укрывшійся въ саду,
Бѣлѣя, всталъ предъ нашимъ караваномъ.
Тамъ міра свѣтъ, исканій долгихъ цѣль....
Взойдя на холмъ съ гробницею Рахили,
Я видѣлъ край, гдѣ вѣры колыбель.
Встрѣчалъ я звѣзды множества земель,
Но ихъ лучи души не озарили...
Здѣсь небеса и звѣзды близки были.

Все громче слышатся звуки вдохновленные зарождающеюся вѣрою. Въ сонетѣ CLXXXIX-мъ поэтъ разсказываетъ, какъ увидалъ онъ съ вершины Елеона Виѳанію,

Гдѣ дружба, святость и любовь цвѣли.
Синоптиковъ, преданій и закона
Суровый критикъ, рывшійся въ пыли,
Тебя, Ренанъ, въ горахъ Святой Земли
Читаю я спокойно, углубленно....
Христа біографъ, скептикъ и поэтъ,
Ты отрицалъ во истину науки, —
Твой старый томъ беру я снова въ руки.
Читаю — и сомнѣній больше нѣтъ,
Въ безвѣріи я вижу вѣры свѣтъ,
Былыхъ молитвъ родятся въ сердцѣ звуки.

Подобно многимъ равнодушнымъ или просто невѣрующимъ, нашъ авторъ изъ «Жизни Іисуса», книги отрицанія и невѣрія,

вывелъ заключеніе обратное тому, къ которому хочетъ привести Ренанъ, и вотъ, что мы читаемъ въ слѣдующемъ CXC-мъ сонетѣ:

Евангеліе.

О, если есть святая красота,
Есть въ мірѣ правда, чуждая сомнѣнья,
То гдѣ-жъ искать, какъ не въ словахъ Христа
Намъ истины живого откровенья?
Обманутъ ли столь чистыя уста?
Какъ могутъ лгать такія увѣренья? —
Завѣтъ любви, свидѣтельство съ креста
И заповѣдь безмѣрнаго прощенья.
Кому же вѣрить, если не Тому,
Кто подтвердилъ ученье смертью крестной?
Свѣтъ отрицать? Въ немъ видѣть ложь и тьму?
Возможно ли наперекоръ уму,
Евангелье провѣривъ мыслью честной,
Не видѣть въ немъ правдивости небесной!

Вѣра восторжествовала надъ безвѣріемъ, и поэтъ даритъ насъ CXCVII-мъ, истинно прекраснымъ сонетомъ:

Ave, Maria!

Тебѣ, Марія, — пѣсни и моленья,
Тебѣ восторгъ возвышенной мечты....
Я вновь увидѣлъ въ грезахъ вдохновенья
Чистѣйшій образъ женской красоты.
Явилась Ты, какъ сходятъ сновидѣнья
Передъ зарей съ небесной высоты,
Когда близка минута пробужденья.
Не знаю я, не вѣдаю — кто Ты?

Святая ли Ты Дѣва Назарета,
Любовь ли та, что рай сулила мнѣ, —
Но вся полна Ты радости и свѣта.
Всходило солнце, и въ его огнѣ,
Какъ ризой дивной, облакомъ одѣта,
Сіяла Ты въ лазурной вышинѣ.

Хотѣлось бы закончить выписки послѣднимъ сонетомъ (CC. Кипарисовая вѣтка), весьма удачнымъ, но не представляющимъ собою торжественнаго аккорда, какимъ бы слѣдовало заключить цѣлый циклъ стихотвореній. Такимъ аккордомъ я считаю предпослѣдній CXCIX-й сонетъ и имъ завершу свое изложеніе:

Іорданъ.

Оконченъ путь. Скитаясь одиноко,
Искалъ любви, искалъ я вѣры тамъ,
Гдѣ древній міръ постигнутъ властью рока.
Въ Элладу шелъ я къ мраморнымъ богамъ....
Я былъ въ краяхъ пустыннаго Востока,
Гдѣ Будда спитъ, гдѣ молится Исламъ,
И вновь пришелъ къ библейскимъ берегамъ,
На Іорданъ, въ тѣнь листьевъ у потока.
Я зачерпнулъ воды въ палящій зной
И утолилъ души моей страданья.
Я Господа обрѣлъ среди блужданья.
Оконченъ путь, — тяжелый путь земной.
Тревогѣ чувствъ, сомнѣньямъ отдалъ дань я....
Я вѣрую, я вижу край иной. —

Если на поэтической нивѣ г. Шуфа встрѣчаются плевелы, то въ послѣдней его книгѣ ихъ несомнѣнно меньше, а все еще попадающіеся являютъ недостатки далеко не столь крупные, какъ въ первыхъ произведеніяхъ. Спѣлая пшеница заставляетъ

забыть о плевелахъ. И у кого изъ писателей не найти тѣневыхъ сторонъ. Въ наше же время, когда истинная поэзія большая рѣдкость, нельзя не радоваться появленію хорошихъ стихотвореній, а такими слѣдуетъ назвать по крайней мѣрѣ 50 сонетовъ книги «Въ край иной...».

Если бы г. Шуфъ предсталъ передъ нами съ одними этими 50-ю сонетами, мы должны были бы признать въ немъ истиннаго поэта. Правда, у него не хватало самооцѣнки; онъ не нашелъ въ себѣ достаточно мужества, чтобы безжалостно предать уничтоженію все недостойное поэзіи, указанное въ началѣ этого разбора. И какъ бы хотѣлось, чтобы этихъ негодныхъ плодовъ его творчества не существовало!

К. Р.

Павловскъ, 29 декабря 1906.